

СОЛЛОГУБ В.А. 6



ТАРАНТАС

Соллогуб Владимир Александрович

Тарантас

Путевые впечатления

Глава I

ВСТРЕЧА

Василий Иванович гулял однажды на Тверском бульваре.

Василий Иванович — казанский помещик лет пятидесяти, ростом небольшой, но такой дородности, что глядеть на него весело. Лицо у него широкое и красное, глаза маленькие и серые. Одет он по-помещичьи: на голове белая пуховая фуражка с длинным козырьком; фрак синий с светлыми пуговицами, сшитый еще в Казани кривым портным, которого вывеска уже сорок лет провозглашает «недавно приехавшим из Питербурха»; панталоны горохового цвета, приятно колеблющиеся живописными складками около сапог. Галстук с огромной пружкой на затылке; на жилете бисерный шнурочек светлонебесного цвета.

Василий Иванович шел себе по Тверскому бульвару и довольно лукаво посмеивался при мысли о всех удовольствиях, которыми так расточительно изобилует Москва.

В самом деле, как подумаешь, Английский клуб. Немецкий клуб. Коммерческий клуб и все столы с картами, к которым можно присесть, чтоб посмотреть, как люди играют и большую и малую игру. А там лото, за которым сидят помещики, и бильярд с усатыми игроками и шутивными маркерами [Маркер (от франц. *marquer*) — служитель при бильярде]. Что за раздолье!.. А цыгане-то, а комедии-то, а медвежья травля медеянскими мордашками у Рогожской заставы, а гулянье загородом, а театр-то, театр, где пляшут такие красавицы и ногами такие вензеля выделывают, что просто глазам не веришь. Тут Василий Иванович вспомнил про грозную и дородную супругу свою, оставленную за хозяйством в казанской деревне, и решительно улыбнулся с видом отчаянного повесы.

В это самое время на Тверском бульваре гулял также Иван Васильевич. Иван Васильевич-молодой человек, только что вернувшийся из-за границы. На нем английский макинтош без талии, панталоны его сшиты у Шевреля, палка, на которой он опирается, куплена у Вердые.

Волосы его обстрижены по вкусу средних зеков, а на подбородке еще видны остатки ужаснейшей бороды.

Прежде, когда русский молодой человек возвращался из Парижа, он привозил с собой наружность парикмахера, несколько ярких жилетов, несколько пошлых остроумий, разные несносные ужимки и нестерпимо решительное хвастовство. Благодаря бога, все это теперь вывелось. Но теперь другая крайность. Теперь молодежь наша прикидывается глубокомысленною, изучает политическую экономию, заботится о русской аристократии, хлопочет о государственном благе, и — как бы вы думали? — за границей делается она русскою, даже чересчур русскою, думает только о России, о величии России, о недостатках России, и возвращается на родину с каким-то странным восторгом, иногда смешным и

неуместным, но по крайней мере извинительным и во всяком случае более похвальным, чем прежнее ничтожество. Достойный представитель юной Руси, Иван Васильевич объездил всю Европу, и, вникая в политическую болтовню перемешанных сословий, приглядываясь к мелким страстям, прикрытым громкими именами общей пользы, свободы и просвещения, он понял, как велика и прекрасна во многом его отчизна, и с того времени загорелась в нем жаркая, хотя бессознательная любовь к родине, и с того времени он начал гордиться перед собой и перед целым светом тем, что он родился русским человеком. Независимо, впрочем, от этого чувства, наподобие прочих наших государственных юношей, привез он из-за границы горячий восторг к парижской опере и нежные воспоминания о парижских загородных балах.

Итак, Иван Васильевич шел по Тверскому бульвару, поглядывая с удивлением на яркие наряды московских щеголих, на фантастические ливреи их небритых лакеев и напевая про себя «Nel furor della tempesta» [«В ярости бури» (итал.)], арию чудесную из беллиниевской оперы «i Pirata» [«Пират» (шпал.)]. «Господи боже мой, — думал он, — как жаль, что так мало здесь движения и жизни... Nel furor... То ли дело-Париж... della tempesta. Ах, Париж, Париж! Где твои гризетки, твои театры и балы Мюзара... Nel furor... Как вспомнишь: Лаблаш, Гризи, Фанни Эльслер, а здесь только что спрашивают, какой у тебя чин. Скажешь: губернский секретарь-никто на тебя и смотреть не хочет... della tempesta!»

В эту минуту загляделся он на странную громаду в белой фуражке, в гороховых занавесках около ног, которая катилась к нему навстречу. Красный улыбающийся лик показался ему знакомым. «Ба! Да это Василий Иванович, подумал он, — сосед наш по казанской деревне.

Деревня у него Мордасы. Триста душ! Хороший хозяин.

Боится жены. На именинных обедах бывает навеселе и поет тогда русские песни, а иногда и приплясывает. Он, верно, видел батюшку».

— Здравствуйте, Василий Иванович, — учтиво сказал, кивая головой, молодой человек. Василий Иванович остановился и с недоверчивостью на него поглядел.

— Ба, ба, ба, — заревел он, наконец, громовым голосом. — Ба, ба, ба, Ваня, Ванюша, Ванечка... Какими судьбами? — И, схватив испуганного щеголя огромными лапами, Василий Иванович начал душить его увесистыми поцелуями, не обращая внимания на толпу гуляющих зевак.

— Ну, брат, каким же ты чучелой выглядишь. Повернись-ка, пожалуйста, И еще... Вот эндак. Что это, мода у вас, что ли? Ни дать ни взять куль, куда муку ссыпают.

Хорош, брат! Очень хорош. Откуда ты?

— Я был за границей,

— Вот-с! А где, коль смею спросить?

— В Париже шесть месяцев.

— Так-с.

— В Германии, в Италии...

— Да, да, да, да... Хорошо... а коли смею спросить, много деньжонок изволил порастрясти?

— Как-с?

— Много ли, брат, промотыжннчал?..

— Довольно-с.

— То-то... а батюшка-то твой, мой сосед, что скажет на это? Ведь старики-то не очень сговорчивы на детское мотовство... Да и года-то плохие. Ты, чай, слышал, что у батюшки всю гречиху градом побилло?

— Батюшка писал-с — я сам к нему теперь собираюсь.

— Хорошее дело старика утешить. А... смею спросить, какого чина?

«Так и есть», — подумал молодой человек. — Двенадцатого класса, отвечал он запинаясь.

— Гм... не важно... а уж в отставке, чай?

— В отставке.

— То-то же. Вы, молодые люди, вбили себе в голову, что надо пренебрегать службой. Умны слишком, извольте видеть, стали. А теперь, коли смею спросить, что вы намерены делать-с... Ась?..

— Да я бы хотел, Василий Иванович, посмотреть на Россию, познакомиться с ней.

— Как-с?

— Я хотел бы изучить свою родину.

— Что, что, что?..

— Я намерен изучить свою родину.

— Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изучать?..

— Изучать мою родину... изучать Россию.

— А как это вы, батюшка, будете изучать Россию?..

— Да в двух видах... в отношении ее древности и в отношении ее народности, что, впрочем, тесно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши поверья и преданья, прислушиваясь ко всем отголоскам нашей старины, мне удастся... виноват, нам удастся... мы, товарищи и я...

Мы дойдем до познания народного духа, нрава и требования и будем знать, из какого источника должно возникать наше народное просвещение, пользуясь примером Европы, но не принимая его за образец.

— По-моему, — сказал Василии Иванович, — я нашел тебе самое лучшее средство изучать Россию — жениться.

Брось пустые слова, да поедем-ка, брат, в Казань. Чин у тебя небольшой, однакож офицерский. Имение у вас дворянское. Партию ты легко найдешь. На невест у нас, слава богу, урожай... Женись-ка, право, да ступай жить с стариком. Пора и об нем подумать. Эх, брат, право-ну! Ты ведь думаешь, в деревне скучно? Ничуть. Поутру в поле, а там закусить, да пообедать, да выспаться, а там к соседям... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?.. Житье, брат... что твой Париж. Да главное, как заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь сам-восем, да на гумне столько хлеба наберется, что не успеешь молотить, а в кармане столько целковых, что не сочтешь, так, по-моему, ты славно будешь знать Россию. А?..

— Конечно, — сказал Иван Васильевич. — Оно бы недурно.

— Знаешь что? Ты в Казань едешь?

— В Казань.

— Когда?

— Да чем скорее, тем лучше.

— Прекрасно... А в чем коли смею спросить?..

— Я еще сам не знаю.

— У тебя ведь нет экипажа?

— Никак нет-с.

— Бесподобно! Мы поедем вместе.

— Как-с?

— Мы вместе поедем. Я отвезу тебя к старику... У тебя ведь, чай, лишних деньжонок нет?

— Помилуйте... я не понимаю..

— Полно важничать... Говори правду...

— Я точно немного стеснен теперь.

— Ну, ну, ну... вот видишь. Давно бы так... Я отвезу тебя, а с отцом мы сочтемся...

— Позвольте...

— Что еще?

— Мне совестно-с.

— Вот вздор какой. Мы, батюшка, люди русские. Перестань, брат, франтить. Со мной без церемонии. По рукам, что ли?..

— Я очень буду вам обязан.

— Ну и хорошо, и прекрасно! А послушан-ка, знаешь ли, в чем мы поедем? А?

— В карсте?

— Нет.

— В коляске?

— Нет.

— В бричке?

— И нет.

— В кибитке?

— Вовсе нет.

— Так в чем же?

Тут Василий Иванович лукаво улыбнулся и провозгласил торжественно:

— В тарантасе!

Глава II

ОТЪЕЗД

Несколько дней спустя на Собачьей площадке в маленьком деревянном домике происходила необыкновенная суматоха. На дворе ямщик хлопотал около почтовых лошадей. По лестнице бегали и суетились служанки. В комнатах по полу валялись чемоданы, ящики, веревки, сено и всякая дрянь. В мезонине Василий Иванович стоял перед зеркалом и приготавливался к дороге.

Огромный вязаный шарф с радужными отливами, драгоценный признак супружеского долготерпения, обвязывал его мощную шею. На ногах натянуты были белые кенги, а на туловище мохнатый ергак с шерстью снаружи придавал Василию Ивановичу красоту гомерическую. — По обеим сторонам его почтительно стояли хозяин дома с рукой за пазухой и хозяйка, толстая купчиха, с пирогом, испеченным для дороги, и оба кланялись тучному помещику, приговаривая с разными ужимками:

— Позвольте проводить вашу милость... и пожелать вам всякого благополучия. Просим покорнейше... покорнейше просим принять хлеб-соль нашу на дорогу. Чем бог послал. Просим не побрезгать, а кушать на здоровье.

Путем может пригодиться. Коли бог приведет вашу милость в Москву обратно, низжайше просим нас не обидеть, не проезжать мимо кашей фатеры. Мы, признательно сказать, таким особам очень, по искренности, ради. Покорнейше просим.

— Спасибо, хозяин, — отвечал благосклонно Василий Иванович, — спасибо, хозяйюшка. Буду вас помнить и добром поминать. Эй, Сенька! Возьми пирог да уложи хорошенько в ногах, слышишь ли? Авось бог опять приведет свидеться... Смотри, чтоб не искрошился... Мы жили с вами дружно... Тебе, каналья, все равно.

Василий Иванович положил книжник в боковой карман вместе с подорожной, кошелек в шаровары, подвязал ергак кушаком и, перекрестившись пред образом, немного посидев и трижды обнявшись и с хозяином и с хозяйкой, вышел на двор для последних путевых приготовлений.

На дворе во всей степной красоте своей рисовался тарантас.

Но что за тарантас, что за удивительное изобретение ума человеческого!..

Вообразите два длинные теста, две параллельные дубины, неизмеримые и бесконечные. Посреди их как будто брошена нечаянно огромная корзина, округленная по бокам, как исполинский кубок, как чаша прсждепотопных обедов. На концах дубин приделаны колеса, и все это странное создание кажется издали каким то диким порождением фантастического мира, чем-то средним между стрекозой и кибиткой. Но что сказать об искусстве, с которым тарантас в несколько минут вдруг исчез под сундучками, чемоданчиками, ящичками, коробами, коробочками, корзинками, бочонками и всякой всячиной всех родов и видов. Во-первых, в выдолбленном сосуде не было сидения: огромная перина ввалилась в

пропасть и сровняла свои верхние затрапезные полосы с краями отвислых боков. Потом семь пуховых подушек в ситцевых наволочках, нарочно темного цвета для дорожной грязи, возвысились пирамидой на мягком своем основании. В ногах поставлен в рогожном куле дорожный пирог, фляжка с анисовой водкой, разные жареные птицы, завернутые в серой бумаге, ватрушки, ветчина, белые хлеба, калачи и так называемый погребец, неизбежный спутник всякого степного помещика. Этот погребец, обитый снаружи тюленьей шкурой щетиной вверх, перетянутый жестяными обручами, заключает в себе целый чайный прибор, изобретение, без сомнения, полезное, но вовсе не замысловатой отделки.

Откройте его: под крышкой поднос, а на подносе перед вами красуется спящая под деревом невинная пастушка, борзо очерченная в трех розовых пятнах решительным взмахом кисти базарного живописца. В ларце, внутри обклеенном обойной бумагой, чинно стоит чайник грязнобелого цвета с золотым ободочком; к нему соседятся стеклянный графин с чаем, другой подобный ему с ромом, два стакана, молочник и мелкие принадлежности чайного удовольствия. Впрочем, русский погребец вполне заслуживает наше уважение. Он один у нас среди общих перемен и усовершенствований не изменил своего первообразного типа, не увлекся приманками обманчивой красоты, а равнодушно и неприкосновенно прошел через все перевороты времени... Вот каков русский погребец! Кругом всего тарантаса нанизаны кульки и картоны. В одном из них чепчик и пунцовый тюрбан с Кузнецкого моста от мадам Лебур для супруги Василия Ивановича; в других детские книги, куклы и игрушки для детей Василия Ивановича и сверх того две лампы для дома, несколько посуды для кухни и даже несколько колониальных провизии для стола Василия Ивановича: все купленное по данному из деревни реестру. Наконец, сзади три чудовищные чемодана, набитые всяким хламом и перетянутые веревками, возвышаются люксорским обелиском [Люксорский (луксорский) обелиск-древнеегипетское монументальное сооружение, прославившееся своей высотой.] на задней части нашей путевой колесницы.

Рыжий ямщик начал с недовольным видом впрягать в тарантас трех чахлах лошадей.

В эту минуту въехал на двор на извозчике Иван Васильевич. Воротник его макинтоша был поднят выше ушей, подмышкой был у него небольшой чемоданчик, а в руках держал он шелковый зонтик, дорожный мешок с стальным замочком и прекрасно переплетенную в коричневый сафьян книгу со стальными стежками и тонко очиненным карандашом.

— А, Иван Васильевич! — сказал Василий Иванович. — Пора, батюшка. Да где же кладь твоя?

— У меня ничего нет больше с собой.

— Эва. Да ты, брат, этак в мешке-то своем замерзнешь. Хорошо, что у меня есть лишний тулупчик на заячьем меху. Да бишь, скажи, пожалуйста, что под тебя подложить, перину или тюфяк?

— Как? — с ужасом спросил Иван Васильевич.

— Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь, тюфяк или перину?

Иван Васильевич готов был бежать и с отчаянием поглядывал со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидит его в тулупе, в перине и в тарантасе.

— Ну, что же? — спросил Василий Иванович.

Иван Васильевич собрался с духом.

— Тюфяк! — сказал он едва внятно.

— Ну, хорошо. Сенька, подложи ему тюфячок да пошевеливайся, олух!

Сенька в нагольном тулупе принялся снова за свою циклопическую работу [Циклопическая работа — огромный, исполинский труд.].

Василий Иванович продолжал с довольной улыбкой:

— А каков тарантасик-то? Ась?.. Сушная колыбель! Не опрокинетесь никогда, и чинить нигде не надо, не то что ваши рессорные экипажи: что шаг, то починка. А мягко-то, как словно в кровати. Знай только переваливайся себе с бока на бок, завернись потеплее, да и спи себе хоть всю дорогу.

Иван Васильевич глядел довольно грустно на своего спутника, нимало не убеждаясь в возможности предстоящих наслаждений. Но делать было ему нечего. Попромотавшись, как следует русскому человеку, за границей, он, если говорить правду, точно не знал, как добраться до отцовской деревни.

И вот открывался ему прекрасный случай. Василий Иванович, приятель его отца, отвозил его в долг.

Дорогой же он может изучать свою родину. Все б.ч хорошо. Но эта неблагородная перина, но эти ситцевые подушки, но этот ужасный тарантас!..

Иван Васильевич тяжело вздохнул и глухо примолвил в припев:

— «Nel furor della tempesta»... Пора бы ехать...

И точно, пора. Лошади готовы. Кругом тарантаса суется хозяева, сидельцы и служанки. Все и помогают, и кланяются, и желают счастливой дороги. Василий Иванович, при общем пособии, подталкиваний и подпихивании, вскарабкался, наконец, на свое место и опустился па перину. За ним влез Иван Васильевич и утонул в подушках. Сенька сел подле кучера.

— Ну, готово?

— Готово.

— Ну, смотри же, разбирать дорогу. Под гору сдерживать лошадей. Не скакать и не останавливаться, а ехать рысью... шаг, шаг, шаг... Сенька, не дремать на козлах.

Слышишь ли, чучело? Как раз свалишься. Ну, с богом, в добрый час, в архангельский... Пошел!..

Тарантас пошатнулся и поплелся себе, переваливаясь грузно с бока на бок...

— Прощайте, хозяева.

— Прощайте, батюшка, Василий Иванович... Просим не забывать. Покорнейше просим.

И хозяева, и сидельцы, и служанки, все высыпало за ворота поглазеть вослед тарантасу до того времени, пока он не скрылся, наконец, из вида. И покатился тарантас по Москве белокаменной и ни в ком не возбудил удивления. А было чему подивиться, глядя на уродливую колымагу с подушками, на которой лежал мохнатый помещик, подобно изнеженному медведю; немалого удивления заслуживал и торчащий подле него фантик в макинтоше и с недовольной физиономией, да в своем роде не менее замечателен был на козлах и Сенька в бараньей шкуре, словно дикарь ледовитых пустынь. Все это в других краях возбудило бы непременно общее любопытство. Но в Москве проходящие, привыкнув к подобным картинам, не обращали на тарантас ни малейшего внимания. Одни лишь уличные

мальчишки, дергая друг друга за кафтаны, говорили между собой мимоходом:

— Вишь какой-то едет помещик. Эк его раздуло!

Глава III

НАЧАЛО ПУТЕВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Когда путешественники выехали за заставу, между ними завязался разговор.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чем я думаю?

— Нет, батюшка, не знаю.

— Я думаю, что так как мы собираемся теперь путешествовать...

— Что, что, батюшка... Какое путешествие?

— Да ведь мы теперь путешествуем.

— Пет, Иван Васильевич, совсем нет. Мы просто едем из Москвы в Мордасы, через Казань.

— Ну, да ведь это тоже путешествие.

— Какое, батюшка, путешествие. Путешествуют там за границей, в Неметчине; а мы что за путешественники?

Просто — дворяне, едем себе в деревню.

— Ну, да все равно. Так как мы отправляемся теперь в дорогу...

— А, вот это, пожалуй.

— То мне кажется, что я могу употребить время... нашего, как бы сказать... поезда с пользой.

— А с какой же, батюшка, пользой? Ума не приложу.

— Извольте видеть: за границей теперь мода издавать свои путевые впечатления. Тут помещается всякая всячина. Где ночевал, кого видел, что понял и что угадал, наблюдения о правах, о просвещении, о степени искусств, о движении торговли, о древностях и о современности, одним словом, о целом быте народном. Потом все это собирается и печатается под названием путевых впечатлений.

— Вот-с.

— К сожалению, эти впечатления не всегда носят отпечаток истины и оттого теряют свое достоинство. К тому же все, что можно было сказать о западных государствах, пересказано и перепечатано. Заключение сделаны, мнения определены. Наблюдателю негде разгуляться.

— К чему же вы, батюшка мой, речь эту ведете?

— Вот к чему. Путевые впечатления за границей никому не нужны, потому что нового в них ничего быть не может. Но путевые впечатления в России могут много явить любопытного, в особенности если они будут руководствоваться одной истиной. Подумайте, какое обильное поле для изысканий: изучение древних памятников, изучение русского быта, подробное изучение нашей прекрасной, нашей великой и святой родины. Вы меня понимаете?..

— Нет, брат. Ты все такое мелешь странное.

— Моя надежда, мое желание, моя цель, — продолжал, воспламеняясь, Иван Васильевич, — сделаться хоть чемнибудь полезным для моих соотечественников. Вот для него, Василий Иванович, я хочу записывать все, что буду видеть: буду записывать, не мудрствуя лукаво, а придерживаясь только правды, одной правды. Со мной дорожная чернилица и толстая тетрадь бумаги, — прибавил он торжественно, указывая на величественную книгу, которая покоилась у него на коленях. — Эта книга должна прославить меня в целой России. Это книга моих путевых впечатлений. Друзья мои будут читать ее, и дай бог, чтоб она внушила им желание вникнуть глубже в те предметы, которые я могу обозначить только мимоходом.

— А что же вы думаете писать в ней? — спросил Василий Иванович.

— Все, что встретится нам дорогой истинно любопытного, истинно достойного внимания. Все, что я могу почерпнуть о русском народе и о его преданиях, о русском мужике и о русском боярине, которых я люблю душевно, точно так, как я душевно ненавижу чиновника и то уродливое безыменное сословие, которое возникло у нас от грязного притязания на какое-то жалкое, непонятое просвещение.

— А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновников? — спросил Василий Иванович.

— Это не значит, что я ненавижу людей, служащих совестливо и благородно. Напротив того, я их уважаю от души. Но я ненавижу тот жалкий тип грубой необразованности, который встречается и между дворянами, и между мещанами, и между купцами и который я называю потому вовсе неточным именем чиновника.

— Отчего же, батюшка?

— Потому что те, которых я так называю, за неимением прочного основания придают себе только наружность просвещения, а в самом деле гораздо невежественнее самого простого мужика, которого природа еще не испорчена. Потому что в них нет ничего русского, ни нрава, ни обычая, потому что они своей трактирной образованностью, своим самодовольным невежеством, своим грязным щегольством не— только останавливают развитие истинного просвещения, но нередко направляют его во вредную сторону. Это — создание уродливое, приросшее к народной почве, но совершенно чуждое народной жизни.

Взгляните на него. Куда девались благородные черты нашего народа? Он дурен собой, он грязен, он пьет запоем, а не в праздники, как мужик. Он-то берет взятки, он-то старается всех притеснять и в то же время дуется и гордится пред простым народом тем, что он играет в бильярд и ходит во фраке. Подобное племя — племя испорченное, переродившееся от прекрасного начала. Посмотрите-ка на русского мужика. Что может быть его красивее и живописнее? Но по предосудительному равнодушию у нас в высшем кругу мало об нем заботятся или смотрят на него как на дикаря Алеутских островов: а в нем-то таится зародыш русского богатырского духа, начало нашего отечественного величия.

— Хитрые бывают бестии, — заметил Василий Иванович.

— Хитрые, но потому-то и умные, способные к подражательству, к усвоению нового и, следовательно, к образованию. В других краях крестьянин, что ему ни показывай, все себе будет землю пахать; а у нас-вам только приказать стоит, и он делается музыкантом,

мастеровым, механиком, живописцем, управителем, чем угодно.

— Что правда, то правда, — сказал Василий Иванович.

— И к тому ж, — продолжал Иван Васильевич, — в каком народе найдете вы такое инстинктивное понятие о своих обязанностях, такую готовность помочь ближнему, такую веселость, такое радушие, такое смирение и такую силу?

— Лихой народ, нечего сказать! — заметил Василий Иванович.

— А мы гнушаемся его, мы смотрим на него с пренебрежением, как на оброчную статью, и не только мы ничего не делаем для его умственного усовершенствования, но мы всячески стараемся его портить.

— Как это? — спросил Василий Иванович.

— Вот как. Гнусным устройством дворни. Дворовый не что иное, как первый шаг к чиновнику. Дворовый обрит, ходит в длиннополом сюртуке домашнего сукна. Дворовый служит потехой праздной лени и привыкает к тунеядству и разврату. Дворовый уже пьянствует, и ворует, и важничает, и презирает мужика, который за него трудится и платит за него подушные. Потом, при благополучных обстоятельствах, дворовый вступает в конторщики, в вольноотпущенные, в приказные; приказный презирает и дворового и мужика, и учится уже крючкотворству, и потихоньку от исправника подбирает себе кур да гривенники.

У него сюртук нанковый, волосы примазанные. Он обучается уже воровству систематическому. Потом приказный спускается еще на ступень ниже, делается писцом, повытчиком, секретарем и, наконец, настоящим чиновником. Когда сфера его увеличивается; тогда получает он другое бытие: презирает и мужика, и дворового, и приказного, потому что они, изволите видеть, люди необразованные. Он имеет уже высшие потребности и потому крадет уже ассигнациями. Ему ведь надо пить донское, курить табак Жукова, играть в банчик, ездить в тарантасе, выписывать для жены чепцы с серебряными колосьями и шелковые платья. Для этого он без малейшего зазрения совести вступает на свое место, как купец вступает в лавку, и торгует своим влиянием, как товаром. Попадется иной, другой... Ничто ему, говорят собратья. Бери, да умей.

— Не все же таковы, — заметил Василий Иванович.

— Разумеется, не все, но исключения не изменяют правила.

— И к тому ж, — прибавил Василий Иванович, — губернские чиновники избираются у нас большею частью дворянством.

— То-то и грустно, — сказал Иван Васильевич. — То, что в других краях предмет домогательства народного, у нас представляется самим собой. Мы не должны, мы не можем сметь жаловаться на правительство, которое предоставило нам самим выбор своих уполномоченных для внутреннего распоряжения наших дел. Греха таить нечего.

Во всем виноваты мы, мы, дворяне, мы, помещики, которые шутком и смеемся над тем, что должно бы было быть предметом глубоких размышлений. В каждой губернии есть и теперь люди образованные, которые, при содействии законов, могли бы дать благодетельное направление целой области, но все они почти бегают от выборов, как от чумы, предоставляя их козням и расчетам мелких сплетников и губернский крикунов. Большие же владельцы, гуляя на Невском проспекте или загулявшись за границей, почти никогда не заглядывают в свои поместья.

Выборы для них — карикатура. Исправник, заседатель — карикатуры, прекрасно

выставленные в «Ревизоре». И они тешатся над их лысынями, над их брюхами, не думая, что они вверяют им не только свое настоящее благоденствие и благоденствие своих крестьян, но — что страшно вымолвить! — и будущую свою судьбу. Да! Если б мы не приняли этого жалкого направления, если б мы не были так непростительно легкомысленны, как хорошо было бы призвание русского дворянства, которому предназначено было идти впереди и указывать целому народу на путь истинного просвещения. Повторяю: виноваты мы сами, мы, помещики, мы, дворяне. Русские бояре могли бы много принести пользы отечеству, а что они сделали?..

— Попромотались, голубчики, — заметил основательно Василий Иванович.

— Да, — продолжал Иван Васильевич. — Попромотались на праздники, на театры, на любовниц, на всякую дрянь. Все старинные имена наши исчезают. Гербы наших княжеских домов развалились в прах, потому что не на что их восстановить, и русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало родовые свои вотчины оборотливым купцам, которые в роскошных палатах поделали фабрики. Где же наша аристократия?.. Василий Иванович, что думаете вы о наших аристократах?

— Я думаю, — сказал Василий Иванович, — что нам на станции не будет лошадей.

Глава IV

СТАНЦИЯ

К несчастью, предвещание Василия Ивановича действительно оправдалось.

Тарантас остановился у низенькой избушки, перед которой четырехугольный пестрый столб означал жилище станционного смотрителя. На дворе было уже темно.

Тусклый фонарь едва-едва освещал наружную лестницу, дрожащую под навесом. За избушкой тянулся трехсторонний сарай, крытый соломой, из которого выглядывали лошади, коровы, свиньи и цыплята. Посреди мягкого и влажного двора стоял полуразвалившийся четырехугольный бревенчатый колодезь. У самого подъезда толпились, прибежав с разных сторон, безобразные нищие, безногие, немые, слепые, с высохшими руками, с отвратительными ранами, в лохмотьях, с всклокоченными бородами. Тут были и пьяные старухи, и бледные женщины, и дети в одних рубашонках, вынудившие руки из рукавов и скрестившие их на груди от холода. Грустно было слышать их притворный, выученный голос среди мычанья, моленья и взаимной брани уродливой толпы, которая, толкая друг друга, с жадностью бросилась к тарантасу, выказывая раны и протягивая руки.

Между тем, пока наши путники, утомленные от первого перевала, выпутывались из перин и подушек, смотритель в изношенном зеленом мундирном сюртуке вышел на крыльцо и посмотрел на приезжих под руку.

— Тарантас — сказал он довольно презрительно. — Тройка, подождать могут... Да отвяжитесь вы, анафемы! — закричал он нищим.

Как стая испуганных собак, безобразная толпа разбежалась во все стороны, и приезжие вошли в избу на станцию. Смотритель приветствовал их весьма хладнокровно.

— Как вам угодно, а лошадей у меня нет. Такой разгон, что не дай бог!

— Как лошадей нет? — закричал Иван Васильевич.

— Извольте сами в книге посмотреть. По штату всего девять троек. Утром проехала надворная советница, взяла шесть лошадей, да тяжелая почта три тройки, да полковник один по казенной надобности, четыре лошади.

— Так все-таки у вас остается восемь лошадей, — сказал Иван Васильевич.

— Никак нет-с, извольте в книге посмотреть.

— Да куда ж девались восемь-то лошадей?

— Курьерские лошади точно есть, да дать-то их я не смею. Неравно курьер проедет. Сами посудите.

— Да мы будем жаловаться.

— Извольте, батюшка, жаловаться. Вот вам и книга.

Извольте записаться, а лошадей у меня нет...

— Между Москвой и Владимиром, — заметил Василий Иванович, — никогда ни на одной станции нет лошадей, когда бы ни приехал. Видно, разгон такой большой. Никак я здесь тринадцатый раз проезжаю, а все та же история.

Что ты станешь делать!

— Можно вольных нанять, — сказал более благосклонным голосом смотритель.

— Вольных! — заревел Василий Иванович. — Знаю я этих архибестий. Иуды, канальи, по полтине с лошади за версту дерут. Три дня здесь проживу, а не найму вольных!

Известное дело-с, — заметил смотритель — дешево не свезут. Воля ихня. Впрочем, и кормы теперь дорогие.

— Мошенники! — сказал Василий Иванович.

— Намедни, — продолжал, улыбнувшись, смотритель, — один генерал сыграл с ними славную штуку.

У меня, как нарочно, два фельдъегеря проехало, да почта, да проезжающие, все такие знатные. Словом, ни одной лошади на конюшие. Вот вдруг вбегает ко мне денщик, высокий такой, с усищами... «Пожалуйте-де к генералу».

Я только что успел застегнуть сюртук, выбежал в сени.

Слышу, генерал кричит: «Лошадей!» Беда такая. Нечего делать. Подошел к коляске. Извините, мол, ваше превосходительство, все лошади в разгоне. «Врешь ты, каналья! — закричал он. — Я тебя в солдаты отдам. Знаешь ли ты, с кем ты говоришь? А? Разве ты не видишь, кто едет? А?»

Вижу, мол, ваше превосходительство, рад бы, ей-богу, стараться, да чем же я виноват?.. Долго ли бедного человека погубить. Я туда, сюда... Нет лошадей... К счастью, тут Ерема косой да Андрюха лысый, народ, знаете, такой азартный, им все нипочем, подошли себе к коляске и спрашивают: «Не прикажете ли вольных запрячь?» — «Что возьмете?» — спрашивает генерал. Андрюха-то и говорит:

«Две беленьких, пятьдесят рублей на ассигнации», — а станция-то всего шестнадцать верст. «Ну, закладывайте, — закричал генерал, — да живет только, растакие-то канальи». Обрадовались мои ямщики, лихая, знаешь, работа, по первому вишь запросу духом впрягли

коней, да и покатили на славу. Пыль столбом. А народ-то завидует.

Экое людям счастье!.. Вот-с поутру, как вернулись они на станцию, я и поздравляю их с деньгами. Вижу, что-то они почесываются. «Какие деньги», бает Андрюха. Вишь, генерал-то рассчитал их по пяти копеек за версту, да еще на водку ничего не дал. Каков проказник!..

— Ха, ха, ха! — заревел Василий Иванович. — Вот молодец! Вот люблю! Пора их, воров, проучить.

Иван Васильевич грустно занялся рассматриваньем жилья станционного смотрителя.

На стенах комнаты, в особенности на печке, заметны еще кое-где сомнительные следы белой краски, стыдливо скрывающейся под тройным слоем копоти и грязи. У дверей привешена белая расписная кукушка с гириями и ходячим маятником. В левом углу киот с образами, а под ним длинная лавка около продолговатого стола. На стене расписание почтового начальства и несколько лубочных картин изображающих нравственно-аллегорические предметы. между окон красуются изображения Малек-Аделя [герой романа Французской писательницы Марии Коттэн (1770-1807) «Матильда»] на разъяренном коне, возвращение блудного сына, портрет графа Платова [(1751-1818) — атаман донских казаков, видный участник Отечественной войны 1812 года.] и жалостный лик Женевьевы Брабантской [Женеьева Брабантская героиня сентиментального романа Серизье «Признанная невинность» (1638).], немного загаженный мухами. Собственное отделение смотрителя находится на правой стороне. Тут сосредоточиваются все его наклонности и привычка. Подле кровати, покрытой заслуженной байкой, горделиво возвышается на трех ножках, без замков и ручек, лучшее убоашение комнаты, комод настоящего красного дерева, покрытый пылью и разными безделками — но что за безделки? Тут и половина очков, и щипцы, и сальные огарки, и баночки без помады, и гребеночка, и стеклянный лебедь с духами и странной пробкой, и модные испачканное картинки, и бутылка с дрей-мადерой, и сигарочный ящик без сигар, и гвозди, и тавлинка [Тавлинка -табакерка], и счеты, — и целое собрание разных головных уборов. Во-первых, зеленая фуражка присвоенная казенному значений смотрителя; потом шляпа черная с белыми пятнами, которую смотритель надевает, когда он делается светским человеком и отправляется с визитом к целовальнику или к просвирне; потом шляпа белая с черными пятнами, которая придает ему особую обворожительность, когда он повесничает и волочится за сельскими красавицами; потом два истертые зимние картуза и, наконец, ермолка первобыточно бархатная с висящей полукистью. К комоду придвинута пирамидочка, украшенная тремя чубуками с перышками и кисетом, некогда вышитым по канве.

Иван Васильевич все осмотрел внимательно, и ему стало еще грустнее. О чем он думал, бог его знает.

Между тем комната наполнилась проезжающими. Вошел учитель тобольской гимназии с женой своей, хорошенькой англичанкой, на которой он только что женился и которую он вез на паре из Москвы в Тобольск. Вошел студент в шинели, перевязанный шарфом, с трубкой и собакой. Ввалился веселый майор, который, сбросив медвежью шубу, раскланялся со всеми поочередно, спросил у каждого, с кем он имеет честь говорить, откуда он, куда и зачем, острил над смотрителем, любезничал с ямщиком, просящим у порога на водку, и очень понравился Василию Ивановичу.

От смотрителя был всем один ответ: «Лошади теперь в разгоне; как с станции вернутся, задержки от меня не будет».

Делать было нечего. Василий Иванович, как человек бывалый и распорядительный, не терял времени. Уже кипящий самовар бурлил в кругу стаканов и чайных орудий.

По сделанному приглашению, беседа столпилась около стола, лица оживились, одежды распахнулись, и чай, благовонный чай, отрада русского человека во всех случаях его жизни,

начал переходить из рук в руки в чашках, блюдечках и стаканах. Знакомство мало-помалу устроилось.

Бранили сперва дорогу, потом жаловались на недостаток в лошадях, потом перешли к посторонним предметам. Студент рассказывал о дупелях и заячьей травле; майор говорил уже всем «ты», сообщил всему обществу, что он выходит в отставку, что у него столько-то денег, что он хотел жениться, но что ему отказали, что он недоволен своею жизнью, словом, без всякого на то вопроса со стороны слушателей он поведал всю историю свою от колыбели до настоящей минуты, с примесью разных шуточек и прибауток. Василий Иванович смеялся и трепал майора по плечу, приговаривая: военная косточка. Иван Васильевич расспрашивал тобольского учителя про Сибирь. Одна только англичанка молчала и выразительно поглядывала на мужа. Вдруг на дворе послышался шум. Чайное общество стало прислушиваться. Сперва подъехал к станции какой-то грузный экипаж; на дворе сделалась суматоха, послышался колокольчик, топот лошадей, и через несколько минут стук колес возвестил отъезд проезжающего.

— Что это такое? — спросил Василий Иванович у вошедшего смотрителя.

— Проехал-с тайный советник.

Все присутствующие взглянули друг на друга с грустным негодованием.

— Где же взяли лошадей?

— Вам, господа, — отвечал, пожимая плечами и несколько смутившись, смотритель, — угодно было чай кушать, а тайный советник, господа... тайный советник... ну, уж сами изволите знать.

Глава V

ГОСТИНИЦА

Между Москвой и Владимиром, как известно опытным путешественникам, нет ни единой гостиницы, в которой можно бы покойно было оплакивать недостаток в лошадях. Один только каморки смотрителей, ограждающих себя от побоев лестными правами 14-го класса, предлагают свои скамьи для грустных размышлений обманутого ожидания. Василий Иванович успел по несколько раз в день вынимать погребец свой из тарантаса и упиваться чаем. Иван Васильевич успел вдоволь надуматься о судьбах России и наглядеться на красоту мужиков, которые, сказать правду, уже ему начали надоедать. В книгу записывать было нечего. Везде тот же досадный, прозаический припев: «Лошади все в разгоне». Иван Васильевич взглядывал на Василия Ивановича, Василий Иванович взглядывал на Ивана Васильевича, и оба садились дремать друг перед другом по несколько часов сряду.

К тому же между двумя станциями с ними случилось поразительное несчастье. В минуту сладкого усыпления, когда, утомившись от толчков тарантаса об деревянную мостовую, Василий Иванович звучно отдыхал от житейской суеты, Иван Васильевич воображал себя в Итальянской опере, а Сенька качался, как маятник, на козлах, два чемодана и несколько коробов отрезаны от тарантаса искусными мошенниками. Горе Василия Ивановича было истинное. Между прочими вещами пропали чепчик и пунцовый тюрбан от мадам Лебур с Кузнецкого моста, а чепчик и тюрбан, как известно, были назначены для самой барыни, для Авдотьи Петровны.

Приехав на станцию, он бросился к смотрителю с жалобой и просьбой о помощи. Смотритель отвечал ему в утешение:

— Будьте совершенно спокойны. Вещи ваши пропали.

Это уж не в первый раз. Вы тут в двенадцати верстах проезжали через деревню, которая тем известна— все шалуны живут.

— Какие шалуны? — спросил Иван Васильевич.

— Известно-с. На большой дороге шалют ночью. Коли заснете, как раз задний чемодан отрежут.

— Да это разбой!

— Нет, не разбой, а шалости.

— Хороши шалости, — уныло говорил Василий Иванович, отправляясь снова в путь. — А что скажет Авдотья Петровна?

— Хоть бы отдохнуть где-нибудь в порядочном трактире, — продолжал не менее плачевно Иван Васильевич, — меня так растрясло, что все кости так и ломит.

Ведь мы уже третий день как выехали, Василий Иванович.

— Четвертый день.

— В самом деле?

— Да; зато, брат, на почтовых едем. Вольным мошенникам поживы от нас не было.

— Поскорее бы приехать нам во Владимир. Владимиром я могу прекрасно начать свои путевые впечатления.

Владимир древний город; в нем должно все дышать древней Русью. В нем-то отыскать, верно, всего лучше источник нашего народного православного быта. Я вам уже говорил, Василий Иванович, что я... и не я один, а нас много, мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада и выдумать своебытное просвещение Востока.

— Это у вас в книге? — спросил Василий Иванович.

— Нет, в книге у меня еще ничего нет. Посудите сами. Можно ли было что писать? Дорога, избы, смотрители, все это так неинтересно, так прозаически скучно. Право, записывать было нечего, даже если бы и всю спину не ломало. Да вот мы доедем до Владимира.

— И пообедаем, — заметил Василий Иванович.

— Столица древней Руси.

— Порядочный Трактир.

— Золотые ворота.

— Только дорого дерут.

— Ну, пошел же, кучер.

— Эх, барин. Видишь, как стараюсь. Вишь дорогу как исковеркало. Ну, сивенькая... Ну, ну...

вывози, матушка... Уважь господ... ну... ну...

Наконец, вдали показался Владимир с куполами и колокольнями, верным признаком русского города.

Сердце Ивана Васильевича забилося. Василий Иванович улыбнулся.

— В гостиницу! — закричал он.

Ямщик приосанился.

— Ну, сивенькая... теперь недалечко, эх-ма!

И ямщик ударил по чахлым кличам, которые, по необъяснимому вдохновению, свойственному только русским почтовым лошадям, вдруг вздернули морды и понеслись как вихрь. Тарантас прыгал по кочкам и рытвинам, подбрасывая улыбающихся седоков. Ямщик, подобрав вожжи в левую руку и махая кнутом правой, покрикивал только, стоя на своем месте, — казалось, что он весь забылся на быстром скаку и летел себе направо, не слушая ни Василия Ивановича, ни собственного опасения испортить лошадей. Такова уж езда русского народа.

Наконец, показались ветряные мельницы, потянулись заборы, появились сперва избы, потом небольшие деревянные домики, потом каменные дома. Путники въехали во Владимир. Тарантас остановился у большого дома на главной улице...

— Гостиница, — сказал ямщик и бросил вожжи.

Бледный половой, в запачканной белой рубашке и запачканном переднике, встретил приезжих с разными поклонами и трактирными приветствиями и потом проводил их по грязной деревянной лестнице в большую комнату, тоже довольно нечистую, но с большими зеркалами а рамах красного дерева и с расписным потолком.

Кругом стен стояли чинно стулья, и перед оборванным диваном возвышался стол, покрытый пожелтевшею скатертью.

— Что есть у вас? — спросил Иван Васильевич у полового.

— Все есть, — отвечал надменно половой.

— Постели есть?

— Никак нет-с.

Иван Васильевич нахмурился.

— А что есть обедать?

— Все есть.

— Как все?

— Ща-с, суп-с. Биштекс можно сделать. Да вот на столе записка, прибавил половой, гордо подавая серый лоскуток бумаги.

Иван Васильевич принялся читать:

ОБЕТ!

1. Суп. — Липотаж.

2. Говядина. — Телятина с циндроном.

3. Рыба — раки.

4. Соус — Патиша.

5. Жаркое. Курица с рысью.

6. Хлебное. Желе сапельсинов.

— Ну, давай скорее! — закричал Василий Иванович.

Тут половой принялся за разные распоряжения. Сперва снял он со стола скатерть, а на место ее принес другую, точно так же нечистую; потом он принес два прибора; потом принес он солонку; потом, через полчаса, когда проголодавшиеся путники уже брались за ложки, явился с графином с уксусом.

На все нетерпеливые требования Василия Ивановича отвечал он хладнокровно: «сейчас...», и сейчас продолжался ровно полтора часа. «Сейчас» — великое слово на Руси. Наконец, явилась вожделенная миска со щами..

Василий Иванович открыл огромную пасть и начал упитываться. Иван Васильевич вытащил из тарелки разные несвойственные щам вещества, как то: волосы, щепки и тому подобное, и принялся со вздохом за свой обед.

Василий Иванович казался доволен и молча ел за троих.

Но Иван Васильевич, несмотря на свой голод, едва мог прикоснуться к предлагаемым яствам.

На соус патиша и курицу с рысью взглянул он с истинным ужасом.

— Есть у вас вино? — спросил он у полового.

— Как не быть-с? Все вина есть: шампанское, полушампанское, дри-мандера, лафиты есть. Первейшие вина.

— Дай лафиту, — сказал Иван Васильевич.

Половой пропал на полчаса и, наконец, возвратился с бутылкой красного уксуса, который он торжественно поставил перед молодым человеком.

— Теперь, — сказал Василий Иватюжич, — пора на боковую. Сенька! — закричал он. Вошел Сенька

— Ты обедал, Сенька?

— Похлебал, сударь, селянки.

Ну, приготовь-ка мне спать. Расставь стулья да принеси мне перину, да подушки, да халат. Видишь, Иван Васильевич, что хорошо все с собой иметь. А ты как ляжешь?

— Да я попрошу, чтоб мне принесли сена, — сказал Иван Васильевич. Сено есть у вас? — спросил он у полового.

— Никак нет-с.

— Ну, достань, братец, я тебе дам на водку.

— Извольтс-с, достать можно.

Началось приготовление походной спальни Василия Ивановича. Половина тарантаса перешла в трактирную комнату. Перина уложилась среди сдвинутых стульев. Василий Иванович разоблачился до самой легкой одежды и тихо склонился на свое пуховое ложе.

Через несколько времени половой возвратился, зацыхаясь, с целым возом сена, котоый он поверг в углу комнаты. Иван Васильевич начал грустно готовиться к ночлегу. Сперва положил он бережно на окно девственную книгу путевых впечатлений вместе с часами и бумажником; потом растянул он свой макинтош на сено и бросился на него с отчаянием. О ужас! Под ним раздался писк, и из клочков сухой травы вдруг выпрыгнула разъяренная кошка, вероятно заславшаяся в сенном сарае. С сердитым фырканием царапнула она раза два испуганного юношу, потом вдруг отскочила в сторону и, перепрыгнув через стулья и через Василия Ивановича проскользнула в полуотворенную дверь.

— Батюшки светы!.. Что там такое? — кричал Василии Иванович.

— Я лег на кошку, — отвечал жалобно Иван Васильевич.

Василий Иванович засмеялся.

— Зато у тебя, брат, в кровати не будет мышей.

Желаю покойной ночи.

Мышей, точно, не было... но появились животные другого рода, которые заставили наших путников с беспокойством ворочаться со стороны на сторону.

Оба молчали и старались заснуть.

В комнате было темно, и маятник стенных часов уныло стучал среди ночного безмолвия. Прошло полчаса.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Вы спите?

— Нет, не спится что-то с дороги.

— Василии Иванович!

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чем я думаю?

— Нет, батюшка, не знаю.

— Я думаю, какая для меня в том польза, что здесь потолок исписан разными цветочками, персиками и амурами, а на стенах большие уродливые зеркала, в которых никогда никому глядеться не хотелось. Гостиница, кажется, для приезжающих, а о приезжающих никто не заботится. Не лучше ли бы, например, иметь просто чистую комнату без малейшей претензии на грязное щегольство, — но где была бы теплая кровать с хорошим бельем и без тараканов: не лучше ли бы было иметь здоровый, чистый, хотя нехитрый русский стол, чем подавать соусы патиша, потчевать полушампанским и укладывать людей на сено, да еще с кошками?

— Правда ваша, — сказал Василий Иванович, — по-моему, хороший постоянный двор лучше

всех этих трактиров на немецкий макер.

Иван Васильевич продолжал:

— Я говорю и вечно говорить буду одно: я ничего не ненавижу более полуобразованности. Все жалкие и грязные карикатуры несвойственного нам быта не только противны для меня, но даже отвратительны, как уродливая смесь мишуры с грязью.

— Эва! — заметил Василий Иванович.

— Гостиницы, — продолжал Иван Васильевич; — больше значат в народном быте, чем вы думаете. Они выражают общие требования, общие привычки. Они способствуют движению и взаимным сношениям различных сословий. Вот в этом можно бы поучиться на Западе.

Там сперва думают об удобстве, о чистоте, а украшение и потолки последнее дело... Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чем я думаю?

— Нет, батюшка, не знаю.

— Я хотел бы устроить русскую гостиницу по своему вкусу.

— Что ж, батюшка, за чем дело стало?

— Это так... предположение, Василий Иванович... по я уверен, что гостиница моя была бы хороша, потому что я старался бы соединить с первобытным характером русского жилья все потребности уюта и мелочной опрятности, без которых просвещенный человек теперь жить не может. Во-первых, все эти испитые, ободранные, пьяные половые, жалкое отродие дворовых, будут изгнаны без милосердия и заменятся услужливыми парнями на хорошем жалованье и под строгим надзором. Внутри комнат стены будут у меня дубовые, лакированные, с резными украшениями. На полу будут персидские ковры, а кругом стен мягкие диваны... Да, очень не худо, знаете, вот так против кровати устроить большой восточный диван, — продолжал Иван Васильевич, переваливаясь с беспокойством на колючем сене... — Я очень люблю мягкие диваны. Вообще я думаю, что устройство комнат наших предков имело много сходства с устройством комнат на Востоке... Как вы об этом думаете?..

— Василий Иванович! Василий Иванович! А?.. Что?..

Как?.. Спит, — заключил с досадой Иван Васильевич, — ему хорошо на перине, а мне, пока моя гостиница не будет готова, все-таки должно провалиться всю ночь на сене!

Глава VI

ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД

Рано утром, когда Василий Иванович потрясал еще стены своим богатырским храпом, Иван Васильевич отправился отыскивать древнюю Русь. Ревностный отчизнолюбец, он желал, как читатель уже знает, отодвинуть снова свою родину в допетровскую старину и начертать ей новый путь для народного преобразования. Ему это казалось совершенно возможным,

во-первых, потому, что несколько приятелей его были одинакового с ним мнения, во-вторых, потому, что он России не знал вовсе. Итак, рано утром, с любимой мыслию в голове, отправился он бродить по Владимиру. Прежде всего он отправился в книжную лавку и, полагая, что и у нас, как за границей, ученость продается задешево, потребовал «указателя городских древностей и достопримечательностей». На такое требование книгопродавец предложил ему новый перевод «Монфермельской молочницы», сочинение Поль-де-Кока, важнейшую, по его словам, книгу, а если не угодно, так «Пещеру разбойников», «Кровавое привидение» и прочие ужасы новейшей русской словесности.

Не удовлетворенный таким заменом, Иван Васильевич потребовал по крайней мере «Виды губернского города».

На это книгопродавец отвечал, что виды у него точно есть, и что он их дешево уступит, и что ими останутся довольны, но только они изображают не Владимир, а Цареград. Иван Васильевич пожал плечами и вышел из лавки. Книжный торговец преследовал его до улицы, предлагая попеременно новые парижские карикатуры с русским переводом, «Правила в игру преферанс», «Новейший лечебник» и «Ключ к таинствам природы».

Бедный Иван Васильевич пошел осматривать город без руководства и невольно изумился своему глубокому невежеству. Даром что он читал некогда историю; но он ничего твердого к определительному удержать из нее не мог. В голове его был какой-то туманный хаос: имена без образов, образы без цвета. Он припомнил и Мономаха, и Всеволода, и Боголюбского, и Александра Невского, и удельное время, и набеги татар, но припомнил, как школьник твердит свой урок. Как они тут жили? Что тут делалось? — кто может это теперь рассказать? Иван Васильевич осмотрел золотые ворота с белыми стенами и зеленой крышкой, постоял у них, поглядел на них, потом опять постоял да поглядел и пошел далее. Золотые ворота ему ничего не сказали. Потом он пошел в церкви, сперва к Дмитриевской, где подивился необъяснимым иероглифам, потом в собор, помолился усердно, поклонился праху князей... но могилы остались для него закрыты и немые. Он вышел из собора с тяжелою думою, с тяжким сомнением... На площади толпился народ, расхаживали господа в круглых шляпах, дамы с зонтиками; в гостином дворе, набитом галантерейной дрянью, крикливые сидельцы вцеплялись в проходящих; из огромного здания присутственных мест выглядывали чиновники с перьями за ушами; в каждом окне было по два, по три чиновника, и Ивану Васильевичу показалось, что все они его дразнят... Он понял тогда или начал понимать, что сделанное сделано, что его никакой силою переделать нельзя; он понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продается за двугривенный, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни. И иначе быть не может. Там, где так мало следов и памятников, там в особенности, где нравы изменяются и отрезают историю на две половины, прошедшее не составляет народных воспоминаний, а служит лишь загадкой для ученых.

Такая грустная истина останавливала Ивана Васильевича в самом начале великого подвига. Он решился выкинуть из книги путевых впечатлений статью о древностях и пошел рассеяться на городской бульвар. Местоположение этого бульвара прекрасно: на высокой горе, над самой Клязьмой. Вдали расстилается равнина, сливаясь с небосклоном. Иван Васильевич сел на скамейку и начал задумчиво глядеть в даль, неопределенную и туманную, как судьба народов. Он долго думал и не замечал, что какой-то господин, отвернувшись к нему спиной, сидел с ним на одной скамейке и тоже размышлял, насвистывая какой-то итальянский мотив.

«Ба! Да это из «Нормы» [Норма — опера итальянского композитора Беллини (1801-1835)], — подумал Иван Васильевич и обернулся.

Оба вскрикнули в одно время:

— Федя!

- Ваня!
- Каким образом!
- Какими судьбами!
- Сколько лет, сколько зим!
- Да, кажется, с самого пансиона.
- Да, да... лет шесть.
- Нет, брат, восемь лет: Время-то как идет! Ты как здесь?..
- Проездом, а ты?
- А я живу.
- В губернском городе!
- Да, что делать!
- Эх! Да как ты постарел!
- А ты, брат, так переменялся, что если бы не голос, так просто узнать нельзя. Откуда взялись бакенбарды!
- А право, мы хорошо жилали в пансионе.
- Веселое было время.
- Помнишь ли Ивана Лукича, инспектора, и Сидорку-разносчика, и углового кондитера?
- А помнишь, как мы впотьмах забросали Ивана Лукича картофелем и как мы у учителя арифметики парик сожгли? Правду сказать, ты лениво учился.
- А ты никогда урока не знал.
- Что, ты играешь еще на флейте?
- Бросил. А ты все еще пишешь стихи?
- Давно перестал... Скажи-ка... что же ты теперь подделываешь?
- Я был четыре года за границей.
- Счастливый человек! Я чай, скучно было возвращаться?
- Совсем нет, я с нетерпением ожидал возвращения.
- Право?
- Мне совестно было шататься по белому свету, не зная собственного отечества.
- Как! Неужели ты своего отечества не знаешь?
- Не знаю, а хочу знать, хочу учиться.
- Ах, братец, возьми меня в учителя, я это только и знаю.

— Без шуток: я хочу поехать да посмотреть...

— На что же?

— Да на все: на людей и на предметы... Во-первых, я хочу видеть все губернские города.

— Зачем?

— Как зачем? Чтоб видеть их жизнь, их различие.

— Да между ними нет различия.

— Как?

— У нас все губернские города похожи друг на друга.

Посмотри на один — все будешь знать.

— Быть не может!

— Могу тебя уверить. Везде одна большая улица, один главный магазин, где собираются помещики и покупают шелковые материи для жен и шампанское для себя, потом присутственные места, дворянское собрание, аптека, река, площадь, гостиный двор, два или три фонаря, будки и губернаторский дом.

— Однако ж общества не похожи друг на друга.

— Напротив, общества еще более похожи, чем здания.

— Как это?

— А вот как. В каждом губернском городе есть губернатор. Не все губернаторы одинаковы: перед иным бегают квартальные, суетятся секретари, кланяются купцы и мещане, а дворяне дуются с некоторым страхом. Куда он ни явится, является и шампанское, вино, любимое в губерниях, и все пьют с поклонами за многолетие отца губернии... Губернаторы вообще люди образованные и иногда несколько надменные. Они любят давать обеды и благосклонно играют в вист с откупщиками и богатыми помещиками.

— Это дело обыкновенное, — заметил Иван Васильевич.

— Пстой. Кроме губернатора, почти в каждом губернском городе есть и губернаторша. Губернаторша — лицо довольно странное. Она обыкновенно образована столичной жизнью и избалована губернским низкопоклонством. В первое время она приветлива и учтива; потом ей надоедают непрерывные сплетни; она привыкает к угождениям и начинает их требовать. Тогда она окружает себя голодными дворянками, ссорится с вице-губернаторшей, хвастает Петербургом, презрительно относится о своем губернском круге, и, наконец, навлекает на себя общее негодование до самого дня ее отъезда, в каковой день все забывается, все прощается, и ее провожают со слезами.

— Да два лица не составляют города, — прервал Иван Васильевич.

— Пстой, пстой! В каждом губернском городе есть еще много лиц: вице-губернатор с супругой, разные председатели с супругами и несчетное число служащих по разным ведомствам. Жены ссорятся между собой на словах, а мужья на бумаге. Председатели, большею частью люди старые и занятые, с большими крестами на шее, высовываются из присутствия только в табельные дки для поздравления начальства. Прокурор почти всегда человек холостой и завидный жених. Жандармский штаб-офицер — добрый малый.

Дворянский предводитель — охотник до собак. Кроме служащих, в каждом городе живут и помещики, обыкновенно скупые или промотавшиеся. Они постигли великую тайну, что как карты созданы для человека, так и человек создан для карт. А потому с утра до вечера, а иногда и с вечера до утра козыряют они себе в пички да в бубандрясы без малейшей усталости. Разумеется, что и служащие от них не отстают.

Ты играешь в вист?

— Нет.

— В преферанс?

— Нет.

— Ну, так тебе и беспокоиться не нужно; ты в губернии пропадешь. Да может быть, ты жениться хочешь?

— Сохрани бог!

— Так и не заглядывай к нам. Тебя насильно женят.

У нас барышень вдоволь. Все они, по природному внушению, поют варламовские романсы и целой шеренгой расхаживают по столовым, где толкуют о московском дворянском собрании. Почти в каждом губернском городе есть вдова с двумя дочерьми, принужденная прозябать в провинции после мнимой блистательной жизни в Петербурге. Прочие дамы обыкновенно над ней смеются, все не менее того стараются попасть в ее партию, потому что в губерниях одни барышни не играют в карты, да и те, правду сказать, играют в дурачка на орехи. Несколько офицеров в отпуску, несколько тунеядцев без состояния и цели, губернский остряк, сочиняющий на всех стишки да прозвания, один старый доктор, двое молодых, архитектор, землемер и иностранный купец заключают городское общество.

— Ну, а образ жизни? — спросил Иван Васильевич.

— Образ жизни довольно скучный. Размен церемонных визитов. Сплетни, карты, карты, сплетни... Иногда встречаешь доброе, радушное семейство, но чаще наталкиваешься на карикатурные ужимки, будто бы подражающие какому-то небывалому большому свету. Общих удовольствий почти нет. Зимой назначаются балы в собрании, но по какому-то странному жеманству на эти балы мало ездят, потому что никто не хочет приехать первым. *Воп genre* [Человек примерного поведения (франц.)] сидит дома и играет в карты. Вообще я заметил, что когда приедешь нечаянно в губернский город, то это всегда как-то случается накануне, а еще чаще на другой день после какого-нибудь замечательного события. Тебя всегда встречают восклицаниями.

«Как жаль, что вас тогда-то не было или что вас тогда-то не будет». Теперь губернатор поехал ревизовать уезд, помещики разъехались по деревням, и в городе никого нет. Не всякому дано попасть в благополучные минуты шумного съезда. Такие памятные эпохи бывают только во время выборов и сдачи рекрут, во время сбора полков, а иногда в урожайные годы и во время святок. Самые приятные губернские города, в особенности по мнению барышень, те, в которых военный постой. Где офицеры, там музыка, ученья, танцы, свадьбы, любовные интриги, словом такое раздолье, что чудо.

— Все это хорошо; только одного я не понимаю, — сказал Иван Васильевич, — зачем же ты здесь живешь?

— Зачем?.. Ах, братец, моя история простая и глупая история.

— Расскажи, пожалуйста.

— Тебе почти все наши дворяне расскажут почти то же, что и я... Сперва богатство, потом бедность. Сперва столичная жизнь, потом хорошо, когда и в губернском городе жить можешь.

— Да отчего же это?

— Оттого, что мы почти все легкомысленные до сумасбродства. Оттого, что мы с самого детства все заражены одною болезнью.

— Право? Да как же называется эта болезнь?

— Она называется просто: «Жизнь сверх состояния».

Глава VII

ПРОСТАЯ И ГЛУПАЯ ИСТОРИЯ

— Когда мы с тобой расстались в пансионе, где, между прочим, мы учились оба довольно дурно, я поехал в Петербург, разумеется с тем, чтоб служить. Жить в Петербурге и не служить — все равно что быть в воде и не плавать. Весь Петербург кажется огромным департаментом, и даже строения его глядят министрами, директорами, столоначальниками, с форменными стенами, с вицмундирными окнами. Кажется, что самые петербургские улицы разделяются, по табели о рангах, на благородные, высокоблагородные и превосходительные. Право, так.

Когда я приехал, я был убежден, что, только я покажусь, все обратят на меня внимание и что в короткое время я сделаю блистательную карьеру. Ты помнишь, что в панспоне я писал плохие стихи, следовательно думал, что отлично буду составлять деловые бумаги. Но вообрази мое удивление: при первом моем опыте я написал такой вздор, что столоначальник мой рассмеялся и приказал мне лишь перебеливать отношения... И не только министр, не только директор не поощряли моей неопытности, но даже начальник отделения не говорил со мной никогда ни слова, и блистательные мои дарования остались решительно в тени. Я утешался мыслию, что зависть сослуживцев заграждает мое повышение, а с другой стороны, убедился, что на службе каждый думает только о себе.

Служба, братец, — лестница. По этой лестнице ползают и шагают, карабкаются и прыгают люди зеленого цвета, то толкая друг друга, то срываясь от неосторожности, то зацепясь за фалды надежного эквилибриста; немногие идут твердо и без помощи. Немногие думают об общей пользе, но каждый думает о своей. Каждый помышляет, как бы схватить крестик, чтоб поважничать перед собратьями, да как бы набить карман потуже. Не думай, впрочем, чтоб петербургские чиновники брали взятки. Сохрани бог! Не смешивай петербургских чиновников с губернскими. Взятки, братец, дело подлое, опасное и притом не совсем прибыльное. Но мало ли есть проселочных дорог к той же цели. Займы, аферы, акции, облигации, спекуляции... Этим способом при некотором служебном влиянии, при удачной сметливости в делах состояния точно так же наживаются. Честь спасена, а деньги в кармане.

— Что же дальше?

— Обманувшись в моем честолюбии, я решился блеснуть в свете. Но и в свете со мной было то же. Я думал, что я богат, а вышло, что я беден. Я думал, что я всех удивлю своим экипажем, своим родом жизни, а вышло, что все мое достояние было почти нищенское в сравнении с другими. Я принужден был, по глупому самолюбию, подражать чужой роскоши, а

вовсе не соотнобразяться с моими средствами. Это общий петербургский порок. Жизнь в Петербурге как фейерверк. Много блеска, много дыма, а потом ничего. Каждый лезет в петлю, чтоб перещегоолять соседа перед людьми; все тянутся один за другим: сословия за сословиями, бедные за богатыми. Кто небогат, тот придает себе наружность богатства и тем разоряется вконец; кто богат, тот уж пускается в такую роскошь, строит такие дворцы, что поневоле разоряется тоже. В самом деле, кажется, что наши дворяне ищут нищеты. У нас дворянская роскошь придумала множество таких требований, которые сделались необходимыми, как хлеб и вода; например, толпу слуг, лакеев в ливреях, толстого дворецкого, буфетчиков и прочей сволочи от двадцати до сорока человек, большие квартиры с гостиными, столовыми, кабинетами, экипажи в четыре лошади, ложи, наряды, карты, словом, можно сказать что в Петербурге роскошь составляет первую жизненную потребность. Там сперва думают о ненужном, а уж потом о необходимом. Зато и каждый день дворянские имения продаются с молотка. А если б ты знал, какие страсти возбуждаются от несоразмерности состояния с издержками, какие от того ужасные сцены разыгрываются каждый день в семействах, какие гибельные бывают от того последствия, сколько людей потеряли от безумного угара и спокойствия своей совести и собственное уважение и помрачили честь свою навсегда! Столичная жизнь, как поток, все уносит, все увлекает с собой, не дав и опомниться. Но мы уж так созданы. Прежде всего мы ищем рассеяния и удовольствия, и нет у нас, братец, ни твердых правил, ни высокой цели в жизни. Во-первых, мы дурно воспитаны; во-вторых, мы слабы перед искушением, и хотя мы видим перед собой страшные примеры, но сами не исправляемся. Тут есть о чем призадуматься.. — Да впрочем, ты сам русский дворянин, следовательно, не рассказывать же мне тебе, как люди проматываются.

Может быть, в совершенном нашем незнании расчета есть какая-то славянская удаля, какое-то отдаленное условие нашей широкой, размашистой природы. Как бы то ни было, петербургская роскошь дошла до пошлой глупости, и никто не смеет подать пример рассудка и ума. Ростовщики обогащаются, мода владычествуе, изменяя каждый день свои прихоти, и все покоряются безусловно моде и приносят ей в дань все до последней копейки. Зато нет ни у кого семейных воспоминаний. Ни в одном доме не найдешь ты дедовских следов: ни фамильной утвари, ни признаков уважения к предкам. Все поглощается на удовлетворение модных затей... И поверишь ли, прекрасный Петербург кажется городом, взятым напрокат. Что касается до меня, я делал, как товарищи, то есть делал долги и проживал вдвое против получаемых доходов. Впрочем, это еще не удивительно: у меня были приятели, которые ровно ничего не получали, а проживали втрое больше меня. Как они делали, до сих пор не понимаю. Я был везде принят, волочился за модными дамами, слушал их вздор, отвечал тем же и всюду и всячески старался веселиться. Но, сказать тебе правду, среди насильственного вечного рассеяния я был совершенно несчастлив. Подобно многим нашим молодым людям, я чего-то хотел, чем-то был недоволен; я жаждал какой-то невозможной деятельности; словом, чувствовал себя бесполезным, лишним и укорял других в своем ничтожестве. Такою черной немочью страдают у нас многие. Тогда я вздумал жениться.

— Как? Ты женат? — спросил Иван Васильевич.

— Женат, — отвечал, вздохнув, его собеседник, — но все равно что холостой. Опять простая и глупая история.

В Петербурге прекрасные девушки. Взглянуть на них — загляденье. Волосы их так гладко причесаны, талии у них такие пышные, а танцуют они так мило и так много, что нельзя в них не влюбиться. Я и влюбился.

Вальсом началась моя любовь, мазуркой решилась моя свадьба. Невеста моя была дочь богатого человека, который давал удивительные обеды и каждый вечер играл в вист, в так называемую большую партию. Я готовился быть счастливым. Но в Петербурге, братец, свадьба — половина банкротства. Нигде в мире нет, я думаю, обыкновения, приступая к

счастью, заблаговременно его испортить и, готовясь к покою, заранее уничтожить возможность быть спокойным. В Петербурге же — такой обычай, такой закон. Как бы ни глуп был общий пример, надо следовать общему примеру. У нас для всего созданы условные правила, необходимые, как визиты и шляпочные поклоны. Таким образом, и жених обязывается к самому смешному мотовству, какое бы ни было его состояние, и тут-то пожива славянскому размаху. Во-первых, жениху предстоят непереманные подарки. Портрет, писанный Соколовым [Соколов П. Ф. (1787-1847)-видный русский художник, академик портретной акварельной живописи], браслет пышный, браслет чувствительный, турецкая шаль, брильянтовые украшения и несметное число всякой блестящей дряни из английского магазина. Потом жеинх обязан отделать заново чужой дом, обставить комнаты растениями, взятыми натока, завести щегольские экипажи с красивыми лошадьми и сверкающими сбруями. Он одевает двух огромных лакеев в ливреи с гербовыми позументами, заготовляет сервизы, бронзы, фарфоры, готовится давать обеды и, только женившись, замечает, что именно-то обедать и нечем. Отец невесты, с своей стороны, отделяет на славу спальню, как бы давая пример жениху в сумасбродстве, как бы заботясь гораздо более о пышном убранстве нанятых стен, чем о счастье и спокойствии своей дочери. Сверх того, он наполняет множество шкапов и сундуков разным тряпьем и хламом, которое, под названием приданого, уносит целый капитал, и, наконец, на другой день после свадьбы дарит новобрачного своим полным доверием. Он признается с полной откровенностью, что петербургская жизнь дорога до чрезвычайности, что повар его разоряет, что в вист играет он несчастливо, и в заключение объявляет, что надо ожидать его смерти для получения обещанных доходов. Немного сконфуженный таким странным ожиданием и такой приятной новостью, зять, с своей стороны, сознается в плачевном положении своих дел и потом, через несколько дней, ссорится навек с новым своим семейством...

Так и со мной было. Я хотел уехать в деревню. Жена не захотела. Она не так была воспитана. Она привыкла и по Невскому гулять и на балы и в театр ездить. Нечего было делать. Тут, братец, началась для меня настоящая каторга. В жизни сверх состояния бывают ужасные минуты. Иногда жена, разряженная, любезничает в ложе с франтами, а дома дров нет; иногда гости назвались к обеду, а повар не ставит более в долг провизии и грубят тебе еще вдобавок, и ты не смеешь его выгнать, потому что ему кругом задолжал. Страшно сказать, братец, а в настоящем модном петербургском образе жизни не только нельзя сохранить свое достоинство, но едва ли можно остаться в строгом смысле слова честным человеком. Прежде всего и во что бы ни стало нужны деньги, а деньги употребляются на вздор. Вечером ты танцуешь, а утром у тебя толпятся так называемые гости кабинетные, лихоимцы, аферисты, заимодавцы. Ты закладываешь, продаешь, занимаешь; ты даешь векселя и расписки; ты отдаешь и брильянты, и серебро, и турецкую шаль, и лошадей своих; ты проклинаешь жизнь, ты близок к отчаянию.

Есть минуты, где ты готов застрелиться. И со всем тем ты затянут, раздушен, завит, ты кланяешься, и шаркаешь, и отдаешь визиты, и к тому же можешь быть уверен, что никто решительно тебя не любит и все над тобой смеются.

Так пробился я два года. Но тогда заметил я, что в свете на меня начали глядеть с каким-то презрительным и обидным сожалением. Мне меньше кланялись. Меня забывали в приглашениях. Меня в мазурке перестали выбирать, и мало-помалу все мои друзья начали отдаляться от меня, передавая друг другу не совсем им неприятную весть о моем разорении. «Сам виноват, — говорили они. — Зачем лезет он за другими? Зачем живет он с нами?» И даже люди, которых я любил от души, как братьев, поворотились ко мне спиной, когда узнали, что не могут ни обыграть меня, ни пообедать хорошенько на мой счет, — и не только не видал я от них ни одного знака участия, но узнал еще, что они разглашают мое бедствие с какой-то странной жадностью и нахально остряют над моим злополучием. Это было всего для меня досаднее. Я возненавидел Петербург и решил уехать. Я продал все, что имел, расплатился с кем мог, привел дела свои в возможный порядок и в одно прекрасное утро

отправился с женою в Москву на жительство.

— Ты жил в Москве? — спросил Иван Васильевич.

— Жил, братец. Опять то же самое. Опять продолжение простой и глупой истории! Жена моя хотела жить если не в Петербурге, то в Москве. О деревне и думать мне не позволялось. Вот и поселился я в Москве. Я люблю Москву белокаменную, с вековым Кремлем, с славным и родным воспоминанием на каждом шагу. Москва — сердце России, и это сердце бьется благородным чувством ко всему отечественному. В низшем слое московского населения господствует прямодушие; в высшем — блещут несколько даровитых благонамеренных умов, одушевленных любовью к полезным занятиям, стремлением к прекрасной народной цели. Но это узнал я после. Я попал в какой-то особый круг, составляющий в огромном городе нечто вроде маленького досадного городка. Этот городок, братец, — городок отставной, отечество усов и венгерок, приют недовольных всякого рода, вертеп самых странных разбоев, горнило самых странных рассказов. В нем живут отставленные и отставные, сердитые, обманутые честолюбием, вообще всё люди ленивые и недоброжелательные. Оттого и господствует между ними дух праздности и празднословия, и недаром называют этот городок старухой. Ему прежде всего надо болтать, болтать во что бы ни стало. Он расскажет вам, что серый волк гуляет по Кузнецкому мосту и заглядывает во все лавки; он поведаст вам на ухо, что турецкий султан усыновил французского короля; он выдумает особую политику, особую Европу, — было бы о чем поболтать. Но это зло еще небольшое: праздность породила гнуснейшие дела. Расскажу тебе свои дебют в Белокаменной. Меня тотчас же по приезде повезли в одно приятное общество. Это общество нечто вроде министерства праздношатающихся, камеры тунеядцев. При моем появлении все присутствующие начали искоса на меня поглядывать, как бы на дикого зверя, и начали между собою шептаться. Потом какой-то господин с большим белокурым хохлом подошел ко мне и начал со мною знакомиться, говоря, что он очень знавал батюшку, служил с дядюшкой и даже немного помнит самого дедушку. «По этому праву, — продолжал он, позвольте дать мне вам совет. Видите ли вы там господина с большими черными усами? Берегитесь его... он предложит вам играть с собой и обыграет вас наверное...» Я поблагодарил приятеля моего семейства и пошел в другие комнаты. Вообрази мое удивление: за мной бежит господин с черными усами и начинает со мною разговор. «Вы давно знакомы с этим белокурым хохлом?» — «Нет, сейчас познакомился». — «Ну так берегитесь его; он хочет вас обыграть. Я почел долгом вас предупредить, потому что ваша тетушка была всегда очень ко мне милостива, да и к тому же мы, кажется, несколько сродни».

«Что же это такое!» — подумал я и с любопытством начал прислушиваться к разговорам. Но тут я наслушался таких слов, таких откровенных признаний, таких странных наклонностей, что волосы у меня стали дыбом. Иные вольнодумничали вполголоса и низко кланялись полицеймейстеру; другие рассказывали с чувством и восторгом о рубцах и кулебяках, третьи хвастали сильным пьянством, один господин рассказал даже весьма забавно, как его однажды побили, наконец, некоторые разговаривали вслух о таких удивительных московских тайнах, которых и сам Сю [Сю Эжен (1804-1847) — французский писатель, автор реакционно-мещанского романа «Парижские тайны»] не решился бы напечатать. Говорили тоже о собаках и о женщинах, с тем только различием, что о собаках относились с уважением. Старики играли в вист и громко бранились между собой, после чего, по окончании партии, ходили они обнюхивать ужин и потом уезжали домой.

Наконец, в адской комнате отчаянные игроки с бледными лицами и впалыми щеками играли в тысячную игру. Кругом столов толпились любопытные с бессмысленной жадностью на лице и подлым восторгом к слепому счастью.

Кипы ассигнаций валялись по зеленому полю, и страшная тишина прерывалась только роковым приговором проигрыша. И что тут проигрывалось, не говоря уже о деньгах! Были тут и молчаливые люди, которые сидели в углу и пожимали плечами. Были многие другие,

которые, привыкнув к подобному образу жизни и прислушавшись к странным речам, по силе привычки уже ничего не находили в них предосудительного, а скорее нечто удалое и молодецкое. Таким образом, они братствуют с людьми, которых бы, при настоящей оценке совести, они не велели бы пускать и в лакейскую. Это объясняется просто. Пороки петербургские происходят от напряженной деятельности, от желания выказаться, от тщеславия и честолюбия. Пороки московские происходят от отсутствия деятельности, от недостатка живой цели в жизни, от скуки и тяжелой барской лени. Впрочем, это относится, разумеется, не ко всему обществу, а к малой части того общества, которое наиболее заставляет говорить о себе. Везде есть хорошие и умные люди... только они обыкновенно удаляются от шума и с трудом заводят новые знакомства, тогда как городская сволочь тотчас бросается в глаза и увлекает в разные глупости таких бесхарактерных простаков, каков я, например. Мало-помалу я начал привыкать к странностям круга, в который я попал, познакомился со всеми и оттого стал ко всем благосклоннее. Греха таить нечего, я перестал ужасаться откровенных рассказов, постиг философию стерляжьей ухи и расстегаев, отклонился от людей образованных и радушных, которых так много в Москве, но остался в кругу известной шайки, так что, наконец, в один прекрасный вечер сел я играть по маленькой с белокурым хохлом и с черными усами. Само собою разумеется, что они обыграли меня начистоту и сделались тотчас со мной весьма фамиллярны, трепали меня по плечу, называли меня братцем, скотиной, фефелой, словом оказывали мне самые милые знаки дружбы. Это было досадно...

Когда я вздумал их остановить, они рассердились и начали уже ругаться. Хохол назвал меня шпионом, а усы вздумали поносить поведение жены моей самым мерзким образом. Ты знаешь, я человек горячий. Правой рукой вцепился я в хохол, а левой в усы, и началась настоящая драка. Нас розняли; мы положили, как водится, стреляться на другой день в Марьиной роще, и я с отчаянием поехал домой. И что же, братец? Я вдруг понял, что люблю жену от души и что если б она и я были иначе воспитаны, то могли бы быть очень счастливы; души наши были неиспорченные, но испорчены были наши привычки; словом, недостаток твердых правил, необходимость светского развлечения ввергали нас в ужасную пропасть. Жена моя недурна собой, петербургская дама. Ее приняли в Москве с восторгом и завистью, превозносили в глаза и терзали заочно. Впрочем, это везде так делается. Она не думала остерегаться. Как-то протанцевала она несколько мазурок сряду с одним офицером. Две, три барыни перемигнулись, два, три шалуна сострили на ее счет, и вот — пылинка раздулась горой. На другой день на Тверской рассказывали, что жена моя явно живет с любовником; на Дмитриевке — что у ней два любовника; на Арбате — что у ней три любовника. Через неделю весть эта дошла и до Замоскворечья и до Красных ворот, но там уже любовники жены моей расплодились до числа баснословного.

Московские барыни возили с собою поддельные письма, рассказывали с чувством и негодованием совершенно невозможные случаи, притом каждая придумывала какое-нибудь слово. Слово делалось при повторении анекдотом, анекдот — романом, и московская чудовищная сплетня принялась широко и размашисто разгуливать по матушке Белокаменной насчет жены моей. Когда приехал я к себе после гадкой драки, мы объяснились с женой. Она плакала и жаловалась на гнусные сплетни; я также плакал, ибо чувствовал, что всему виноват, что промотал все до копейки и что мы остаемся нищими. Странно: в эту минуту мы с женой помирились, все друг другу простили, друг друга поняли и полюбили, но жить нам вместе не было никакой возможности. Вдруг стучатся в двери. Это что?

Квартальный и жандармы. Меня велено взять сейчас и отправить во Владимир. У ворот стояла телега. Посадили меня, грешного, и повезли. Жена уехала к отцу в Петербург, а я живу здесь, братец, под присмотром полиции, гуляю на бульваре, смотрю на виды, и вот тебе конец моей простой и глупой истории. Да пойдём-ка ко мне выкурить трубочку.

— Нельзя, братец, меня дожидается старик мой; и то, я думаю, уже сердится,

— Зайди хоть на минутку. Дай с товарищем душу отвести.

— Нельзя, право... Проводи-ка лучше меня к трактиру. Старик, право, сердится.

И в самом деле, у трактира Василий Иванович сидел уже в экипаже и ворчал что-то про молодых людей. Иван Васильевич мигом вскочил на свое место, и тарантас медленно спустился по горе и отправился снова в туманную даль.

Глава VIII

ЦЫГАНЕ

Иван Васильевич сидел в уголке комнаты постоялого двора и грустно о чем-то размышлял. Книга путевых впечатлений лежала перед ним в неприкосновенной белизне.

«В самом деле, — думал он, — отчего в жизни ожидания наши, и желания, и надежды никогда не сбываются?

Загадываешь одно, а выходит противное, и даже не противное, а что-то совершенно другое, неожиданное. В воображении все обрисовывается в ярких, приятных и резких красках, а на деле все сливается в какой-то мутный хаос скучной действительности. Вот, например, долго желал я погулять на Западе, подышать воздухом юга, поглядеть на мудрых людей нашего века, взглянуть поближе на европейское просвещение, на современную славу, на все, чем шумят и хвастают люди. И вот пошатался я по Европе, видел много трактиров, и пароходов, и железных дорог, осмотрел многие скучные коллекции и нигде не находил тех живых впечатлений, которых надеялся. В Германии удивила меня глупость ученых; в Италии страдал я от холода; во Франции опротивела мне безнравственность и нечистота. Везде нашел я подлую алчность к деньгам, грубое самодовольствие, все признаки испорченности и смешные притязания на совершенство. И поневоле полюбил я тогда Россию и решил посвятить остаток дней на познание своей родины. И похвально бы, кажется, и нетрудно.

Только теперь вот вопрос: как ее узнаешь? Хватился я сперва за древности — древностей нет. Думал изучить губернские общества — губернских обществ нет. Все они, как говорят, форменные. Столичная жизнь — жизнь не русская, а перенявшая у Европы и мелочное образование и крупные пороки. Где же искать Россию? Может быть, в простом народе, в простом вседневном быту русской жизни? Но вот я еду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и, хоть что хочешь делай, ничего отметить и записать не могу. Окрестность мертвая, земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть, дорога скверная... по дороге идут обозы... мужики ругаются... Вот и все... а там: то смотритель пьян, то тараканы по стене ползают, то щи сальными свечами пахнут... Ну можно ли порядочному человеку заниматься подобною дрянью?.. И всего безотраднее то, что на всем огромном пространстве господствует какое-то ужасное однообразие, которое утомляет до чрезвычайности и отдохнуть не дает...

Нет ничего нового, ничего неожиданного. Все то же да то же... и завтра будет, как нынче. Здесь станция, там опять та же станция, а там еще та же станция; здесь староста, который просит на водку, а там опять до бесконечности всё старосты, которые просят на водку... Что же я стану писать? Теперь я понимаю Василия Ивановича. Он в самом деле был прав, когда уверял, что мы не путешествуем и что в России путешествовать невозможно. Мы просто едем в Мордасы. Пропали мои впечатления!»

Тут Иван Васильевич остановился. В комнату вошел хозяин постоялого двора, красивый

высокий парень, обстриженный в кружок, с голубыми глазами, с русой бородкой, в синем армяке, перетянут красным кушаком. Иван Васильевич невольно им залюбовался, порадовался в душе красоте русского народа и немедленно вступил в любознательный разговор.

— Скажи-ка мне, приятель... здесь уездный город?

— Так точно-с.

— А что здесь любопытного?

— Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись, ничего нет.

— Древних строений нет?

— Никак нет-с... Да бишь... был точно деревянный острог, неча сказать, никуда не годился.... Да и тот в прошедшем году сгорел.

— Давно, видно, был построен.

— Нет-с, не так давно, а лесом мошенник подрядчик надул совсем. Хорошо, что и сгорел... право-с.

Иван Васильевич взглянул на хозяина с отчаянием.

— А много здесь живущих?

— Нашей братьи мещан довольно-с, а то служащие только.

— Городничий?..

— Да-с, известное дело: городничий, судья, исправник и прочие — весь комплект.

— А как они время проводят?

— В присутствие ходят, пуншты пьют, картишками тешатся... Да бишь, спохватился, улыбнувшись, хозяин, — теперь у нас за городом цыганский табор, так вот они повадились в табор таскаться. Словно московские баре али купецкие сынки. Такой кураж, что чудо. Судья на скрипке играет, Артамон Иванович, заседатель, отхватывает вприсядку; ну и хмельного-то тут не занимать стать... Гуляют себе, да и только. Эвтакая, знать, нация.

— Цыгане, цыгане! — воскликнул с радостью Иван Васильевич, вскочив с своего стула. — Цыгане, Василий Иванович, цыгане... Первая глава для моих впечатлений.

Цыгане — народ дикий, необузданный, кочующий, которому душно в городе, который в лес хочет, в табор свой, в поле, в степь, на простор. Ему свобода первое благо, первая потребность. Свобода вся жизнь его... Как они сюда попали?..

— Задержаны, батюшка, по приказанию начальства.

Бают, будто секретарь просил с них по золотому с кибитки для пропуска. Видно, шататься не велено. Они, с дури, что ли, или точно денег у них не было, не дали; ну и сидят теперь, голубчики, не прогневайся, шестой месяц никак, под караулом.

Восторг Ивана Васильевича немножко утих. Однако он приготовил свою книгу и начал чинить карандаш.

В соседней комнате слышался тяжелый шорох, и улыбающийся лик Василия Ивановича

показался в дверях.

— Цыгане, — сказал он, — га, га, цыганочки. Вишь какие проказники. Точно на ярмарке или в Москве... Цыган себе, извольте видеть, завели... Вот что?.. А есть ли хорошенькие? — прибавил он, прищуривая левый глаз и улыбаясь значительно.

— Всякие есть, — отвечал хозяин, — есть и хорошие.

Стешка есть, такая лихая, чудо-баба, как выпьет... Стряпчий, что ни получит по месту, так к ней и несет. Совсем, говорят, издерживается. Ну, вот Матреша есть исправничья, Наташка есть, голосистая и недотрога такая. Судья, бают, тысячи сулил. «Не надо, говорит, мне ваших тысяч». Вот какая-с. А голос как у соловья. Нечего сказать, знатно поют... Ну, да если хотите, сами услышать можете. Они всего в полверсте отсюда... Коль вашим милостям угодно, я проводить могу.

Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича.

Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича.

— Пойдем, — сказал Василий Иванович.

— Пойдем, — сказал Иван Васильевич.

Они отправились.

Посреди дороги Иван Васильевич остановился.

— Однако, — сказал он, — надеюсь, мы никого из этих чиновников там не застанем?

— Никого, — отвечал проводник. — Теперь присутствие.

— Ну, так пойдем.

У самой опушки леса, около большого поля, цыганский табор рисовался в живописном беспорядке. Телеги с протянутыми к деревьям холстами в виде шатров, привязанные лошади, смуглые ребятишки на перинах, дымящиеся костры, безобразные старухи в оборванных мантиях, коричневые лица, включенные волосы — все резко обозначалось в этой странной и дикой картине. Иван Васильевич был очень доволен, и хотя он и должен был зажать нос от цыганского запаха, однако заманчивость неожиданного приключения и надежда, наконец, начать книгу свою располагали дух его к самой приятной снисходительности.

Василий Иванович пыхтел и торопился.

— Эй вы, черномазые! — закричал проводник. — Вылезайте-ка, черти, живей! Вишь, господа к вам пожаловали.

Весь табор зашевелился. Старухи бегали между телег и сзывали молодых. Молодые поспешно наряжались за холстами, ребятишки прыгали, мужчины низко кланялись и настраивали гитары. «Живее, живее, бабы, господа дожидаются!» — кричал атаман. И вот из-под навесов хлынула толпа цыганок, запачканных, растрепанных, в ситцевых и вязаных платьях, в оборванных розовых передниках.

Иван Васильевич остолбенел. Как! И у цыган водворились жалкие европейские моды? Как! И они не сумели удержать своей первобытной физиономии? Погибли Хитаны, Эсмеральды, Прециозы! [Хитана (от испанск. gitana)-цыганка; Эсмеральда — героиня романа Виктора Гюго (1802-1885) «Собор парижской богородицы»; Прециоза — героиня новеллы Сервантеса

(1517-1616) «Цыганочка».] Прециоза одета щеголихой Смоленского рынка; Эсмеральда в пегом газовом платье, украденном на Басманной. Но этого мало. Цыганки перемигнулись и вдруг с разными ужимками затянули в общем жалобном писке не кочевую цыганскую песнь, а русский водевильный романс. Где же тут своеобытность и народность? Где найдешь их в Европе, когда и цыгане даже их утратили?

Книга путевых впечатлений выпала из рук Ивана Васильевича.

Зато Василий Иванович был в восхищении. Он шевелил плечами, притопывал ногой, даже подтягивал довольно хриплым голосом и утопал в удовольствии. Цыганки окружали его со всех сторон. Те, которые не пели, называли его красавцем, солнышком, гадали ему на ладони и сулили несметные богатства. Пьяная Стешка плясала, разводя руками. Матрена кричала, как будто ее режут, и вот все вдруг захлопали в ладоши и начали провозглашать многие лета Василию Ивановичу. И Василий Иванович улыбался и, забыв про Авдотью Петровну, сыпал двугривенными и четвертаками в жадную толпу.

— Вот так, вот так! — говорил он, — Лихо. Ну, теперь...

«Эй, вы, уланы»... или, знаешь, вот что: «Ты не поверишь, ты не поверишь». Хорошо! — .. Ну-ка, плясовую... Вот так!

Хорошо! Славно!.. Молодцы!.. Лихо! Ну, потешили... Ай, да спасибо!.. Иван Васильевич, а Иван Васильевич, что ты стоишь, как будто восемь в сюрсах проиграл... Взгляни-ка направо... Видишь ли, в красном платке? Как бишь ее, Наташа, что ли?.. Какова? А?..

Ивану Васильевичу сделалось сперва досадно, а потом грустно. Он взглянул на Наташу.

Наташа, несмотря на свой уродливый наряд, была точно хороша собой. Большие черные глаза сверкали, как молния; смуглые черты были нежны и правильны, и белые, как сахар, зубы резко отделялись на малиновых устах.

Иван Васильевич вынул из галстука золотую булавочку и подошел к красавице.

— Наташа, — сказал он, — ты родилась цыганкой, оставайся цыганкой, не носи глупых передников, не презирай своего народа, не пой русских романсов. Пой свои родные песни и в память обо мне возьми мою булавку.

Цыганка живо приколола булавку к платку, взглянула на молодого человека полувесело, полузадумчиво и сказала ему вполголоса:

— Я люблю наши песни, я стану носить твою булавку.

Я тебя не забуду.

Иван Васильевич отошел в сторону, и, не знаю почему, ему стало еще грустнее. Так прошло несколько минут.

— А какво поют? — спросил за ним голос.

Иван Васильевич обернулся. За ним стоял их проводник и лукаво на него поглядывал.

— Не правда ли, что хорошо поют? Барину, никак, нравится, — продолжал он, указывая на Василия Ивановича, умильно стоящего среди цыганок, которые снова хлопали в ладоши, припевая многие лета Василию Ивановичу.

— Поют хорошо.

Ивану Васильевичу не хотелось ни говорить, ни оставаться. Он с трудом оттащил Василия Ивановича, который при диких восклицаниях насилу решился покинуть своих смуглых обольстительниц и в заключение бросил им с восторгом красную ассигнацию.

Наконец, оба отправились молча к станционному двору.

— Недурно поют, — продолжал неугомонный проводник. — Жаль только, что бедняжки сидят под караулом.

Ну да, впрочем, сидеть на чистом воздухе в лесу... не то что сидеть, как я, например, сидел, хоть бы сказать, в остроге...

Глава IX

ПЕРСТЕНЬ

— Ты сидел в остроге? — с любопытством спросил Иван Васильевич.

— Сидел, барин, неча греха таить, безвинно сидел.

— А за что?

Рослый детина провел рукой по русой бородке, поправил ус и улыбнулся. Голубые глаза его оживились огнем понятливости и веселья.

— За частнику, — сказал он.

— Как за частнику? — подхватил Василий Иванович, смеясь всем туловищем. — За жену частного пристава?

Статочное ли это дело? Да ты, брат, я вижу, балагур. Потешь-ка, брат, расскажи, как это у вас было. Дай послушать твои проказы.

— Изволь, барин, расскажу, пожалуй... Изволишь ты видеть: у меня свой постоянный двор для проезжающих, и сарай есть, и сено держим. Милости просим кому угодно, самовар всегда готов, а настойка такая, я вам доложу, что только облизывайся. Это, знаешь, уж так, для угощения, по разнице продавать не ведено... ну, да кто богу не грешен, царю не виноват. Добрые люди, дай бог им здоровья, меня не забывают: так ко мне на двор и заворачивают. А внизу, изволишь ты видеть, барин, у меня лавка со всякой всячиной для крестьянского обихода. Тут и крупа всякая, и рукавицы, и кушаки, и хомуты, и бечевье, и чернослив — словом, что надо.

Года два, что ли, тому прислали нам из города нового частного. С собой такой маленький, круглый, слозно бочка, не больно молодой, да и сказать-то надо правду, крепко испивал. «Что, — говорим мы, — ребята, ведь дрянного вам частного прислали. Ну, а что же ты тут станешь делать? Даром что дрянной, все-таки частный!»

Делать нечего — пошли к нему на поклон; кто взял фунт чая, кто голову сахара, кто другого товара из лавки. Нельзя же и не поздравить с приездом. Вот пришли мы, купечество да мещанство, кто в мундирах, кто в новом платье, как водится, с хлебом с солью, и стоим себе у стенки. А частный-то павлином расхаживает себе в халате да только гостинцы подбирает. Как теперь помню, вот Федька Сидорин толкает меня в бок: «Смотри, говорит, в двери никак частника выглядывает. О, да какая быстроглазая!» А отчего бы не посмотреть, в самом деле?

Ну уж, частниха, сказать правду, маков цвет! С собой такая румяная, а глаза, что уголья, так и искрятся. Подстрекнул меня нелегкий, загляделся на красотку. Чай, она заметила, хлопнула дверью — и была такова.

Вот с того времени, греха таить нечего, нашла на меня дурь несказанная: не сплю, не ем, свет постыл... Только и думаешь, как бы забраться к частному. Бежишь, бывало:

«Ваше благородие, соседние свиньи покоя не дают, прикажите хозяину держать их на привязи»; то, мол: «Десятские, ваше благородие, дерутся и требуют, чтоб их водкой поили даром, говорят, что они люди казенные... Что прикажете с ними делать?» То, мол: «Ваше благородие, в пожарном струменте колесо сломано, на какие суммы прикажете починить?» Мало ли чего передумал. Да еще так приноровишь, когда знаешь, что частный лежит замертво.

Стучишь себе, стучишь. Марья Петровна и выйдет в кацавеечке. «Кого вам угодно?» — «А что, его благородие дома-с?» — «Нездоров-с, голова болит, прилег маленько». — «Гм, дело известное... Ничего-с. Ужотка зайду. Доложите, что Иван Петров Фадеев приходил по своему делу».

Вот-с, недолго спустя, Марья Петровна начала уже прогуливаться мимо моей лавки и заговаривать.

«Что это, Иван Петров, как холодно нынче». — «Видно, сударыня, морозило ночью». Или: «Каково торгуется, Иван Пегров?» — «Ничего-с, изрядно, не можем жаловаться».

Наконец, и самый частный начал ко мне похаживать в лавку. Придет, бывало, и отдувается: «Что это, братец, я озяб что-то. Нет ли водки, хоть бы согреться немного». — «Как не быть, ваше благородие, извольте кушать на здоровье». А водка точно знатная... Я ему рюмочку, другую, третью. Частный мой так нагреется, что еле до дома дойдет. Так по этакой-то-с оказии я и стал ему задушевым приятелем. Только и слышу, бывало: «Иван Петров, зайди закусить. Иван Петров, вечерком ко мне милости просим, пройдемся по пуншту». С утра до вечера все, бывало, зовет к себе. А мне то-то и надо. Частный за ворота... а я в дверь... словом...

Тут рассказчик улыбнулся и остановился опять.

— Словом... Ну, да что тут много толковать! Прошел месяц, другой. Сижу я в своей лавке и торгую по обычаю.

Вижу я, идет частный и отдувается. Я вскричал Сеньке:

«Поддай анисовой, частный идет». Вошел частный. «Здравствуй, Иван Петров». — «Здравия желаю, ваше благородие». — «Что это, братец, я озяб что-то. Нет ли чем погреться?» — «Как не быть?» Вот я взял было рюмку и подношу ему с поклоном: прошу, мол, кушать на здоровье.

А он как надуется вдруг весь красный, и глаза сделались у него словно оловянные ложки. Господи боже, что это с ним? Смотрит мне на руку и стоит как вкопанный. Я сам взглянул на руку... Ахти, грех какой, кольцо-то я забыл снять.

А надо тебе, барин, сказать, что частниха подарила мне колечко червонного золота с голубым цветочком и просила носить на память, только не показывать мужу.

Как только ушел он, я и смекнул, что дело-то плохо, да давай бог ноги, задами, через заборы прямо к частнихе. «Беда, Марья Петровна, беда, возьмите ваш перстень».

Не успел я вернуться, а меня уж схватили трое десятских за шиворот, да и тащат в острог.

«Помилуйте, я купеческий племянник, не смейте меня трогать». Ничуть не бывало, связали руки, да и посадили в острог, в темную, и наручники надели. Вор, дескать.

Не больно весело, барин, сидеть в остроге. Духота такая, что не вытерпишь. На руках железы. Хочешь руки поднять — нельзя. Хочешь лечь негде. Хочешь есть — вода тебе да хлеб. Не приведи бог попасть в острог!

Вот разнеслась молва по городу, что Иван Петров Фадеев украл у частного перстень червонного золота. Меня, дай бог здоровья, добрые люди любили. Пошли просить городничего, чтоб он сам при себе сделал следствие. Городничий наш, добрый такой, служил в мушкатерском полку поручиком, сам отправился к частному и взял с собой секретаря правления и стряпчего. А с горя частный так назюзился, что лыка не вязал. Послали за мною. Привели меня с инвалидами, как преступника. Стыдно было перед народом, а делать нечего.

«На тебя показывает частный пристав, — говорит мне городничий, — что ты украл у него в доме женино кольцо, червонного золота с голубыми камешками».

«Я не крал никогда ничего, ваше высокоблагородие, — говорю я, — была ли когда молва в народе, что Иван Петров Фадеев — мошенник и вор?»

А частный так и мычит. «Вор, вор! Я вам говорю вор. Еще вчера видел я у Марьи Петровны на правой руке это кольцо. Да извольте сами спросить» Частный позвал жену и привел ее к городничему. Вот, говорит, хоть убейте... убей меня гром, еще вчера на этом пальце было... фу ты пропасть!.. Как же оно здесь опять очутилось?..»

«Какое кольцо? — спросила Марья Петровна — У меня никакого кольца не крали. Вот сердоликовое, вот с супирчиком, вот золотое червонного золота с голубыми цветочками. Стыдно тебе, — говорила она мужу, пить до того, что из ума выживаешь!..»

Частный разинул рот, сдурел совсем, а городничий стряпчий и секретарь перемигнулись и смекнули, да как прыснут разом, начнут, голубчики, хохотать.. Животы себе надорвали.

Меня тут же и отпусти домой

Так все и кончилось. Городничий сказал только: «А тебе, брат, урок. Не носить перстеньков да не ухаживать за барынями, а взять себе в дом хорошую хозяйку, которая смотрела бы у тебя за всем».

— Слушаю-с, — отвечал я, да и давай бог ноги домой.

А радость-то какая. Сенька, Сидор, все соседи, все православные пировали у меня до утра.

На другой день частный и частника выехали из города.

А я в первый мясоед взял себе жену у соседа Сидора и вот третий год, прибавил Фадеев, — живем себе, слава богу... нечего сказать... да, — ладно.

Глава X

НЕЧТО О СЛОВЕСНОСТИ

Путники едут по большой дороге. Дорога песчаная. Тарантас тянется шагом.

— Признаюсь, — сказал, зевая и потягиваясь, Василий Иванович, скучненько немного, и виды

по сторонам очень не замысловаты ... Налево гладко... Направо гладко...

— Везде одно и то же. Хоть бы придумать чем-нибудь позаняться.

— Чтением, например, — сказал Иван Васильевич.

— Пожалуй, хоть бы и чтением. Я очень люблю иногда, как делать нечего, книжечки читать. Очень иногда забавные истории пишут. Да кстати, коли смею спросить, вы, может быть, сами сочиняете?..

— Нет-с.

— И хорошо, брат, делаешь. Дворянину неприлично идти в писаки. И потом, — прибавил, вздохнув значительно, Василий Иванович: — не всякому дан talent...т.

— Для нынешней словесности не нужно таланта, — сказал Иван Васильевич.

— Не всякому дано дарованье.

— Не нужно дарованья!

Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича.

Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича.

— Да, — продолжал Иван Васильевич, — теперь не нужно дарованья — нужна одна смешленость. Теперь словесность — ремесло, как ремесло сапожника или токаря.

Писатели не что иное, как литературных дел мастера, и скоро поделают они себе вывески, как в кондитерских и булочных.

— Ну уж, позволь, — прервал Василий Иванович, — это ты уж просто, кажется, аллегория говоришь.

— Нет, я говорю правду. Неужели вы не знаете, какие жалкие и мелкие расчеты скрываются под громкими названиями? Вы еще верите, когда вам говорят, что словесность — выражение народного духа и бытия; вы веруете в высокое ее призвание научать людей, исправлять пороки и направлять душу к чистым наслаждениям. Все ведь это вздор. Словесность есть один из тысячи способов добывать себе деньги, и все. прекрасные чувства, все глубокие мысли, которыми наполнены теперь книги, можно исчислить на ассигнации и серебро. Уничтожьте продажу книг — и словесность исчезнет. В наше продажное время поэзия разлагается на акции и восторг берется на откуп. Скоро заведут сочинительские фабрики и готовые мысли, и чувства будут продаваться по таксе, смотря по достоинству, как продаются теперь у портных фраки и панталоны.

— В прошедшем году, — заметил Василий Иванович, — я купил себе на Кузнецком мосту фланелевый сюртук. Как бы вы думали? Никуда не годился. Француз-мошенник обманул.

— Так обманывают вас те, которых вы читаете с удовольствием, как добрый и честный человек. Вы с доверчивостию покупаете кафтан, а кафтан ваш сшит из тряпок, и то на живую нитку. Теперешние портные, или литераторы, славно себе набили руку для выкройки. У них все в дело идет: и политика, и религия, и нравственность, и юридические вопросы, и философские задачи, а паче всего любовные похождения всех возможных родов. Вгляните на современную европейскую литературу; взгляните в балаганные кулисы. Вам, право, станет тошно. Перед вами все нарумянено, раскрашено, фальшиво; всюду мишура и фольга, всюду жадное стремление обобрать публику. Но публика не поддается, а проходит себе своим путем перед словесностью, как перед нищим, и лишь изредка бросает ей залежалую гривну.

В самом деле, Европа до того стара и опытна, что уж не может более играть добросовестно в литературу. В Европе чистые чувства задушены пороками и расчетом. В ней нет более тех девственных призывов, которые необходимы для излияния девственных и неподдельных впечатлений. Кое-где встретятся еще, может быть, несколько людей, одушевленных благородным огнем, но они не воскресят погибшего: из лохмотьев не сделать им порфиры. Вот почему в стране, еще во многом девственной, в стране, еще не утратившей вполне святости своей первобытной народности, в стране могучей и доблестной, как Россия, должны быть свои родники, чистые, светлые, не смешанные с грязью испорченных образованностей.

— Так-с, — сказал Василий Иванович, который слушал довольно небрежно и ничего не понимал. — Вы любите нашу русскую литературу?

— Сохрани меня бог! — с живостью прервал его товарищ. — Я не говорил такой глупости. И к тому же, о какой литературе вы говорите? Их две у нас.

— Как две?

— Да! Одна даровитая, но усталая, которая показывается в люди редко, смиренно, иногда с улыбкою на лице, а всего чаще с тяжкою грустию на сердце. Другая наша литература, напротив, кричит на всех перекрестках, чтоб только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую. Эта литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватают прохожих за горло, чтоб сбить им свой гнилой товар. Признаюсь, я не видал ничего смешнее, удивительнее, уродливее и отвратительнее этой подложной литературы.

— Отчего это?

— Оттого, что в самом деле литературы тут нет, а одно только название. Оттого, что наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются от ее прикосновения, опасаясь быть замешанными в ее странную деятельность, оттого, что она, теперь в особенности, не что иное, как жалкий нарост на народной почве; оттого, что у нее нет ни цели, ни смысла. Впрочем, если хотите, у нас есть многое множество таких литератур: несколько петербургских, несколько московских, несколько губернских, и в каждой литературе есть несколько партий, которые в муравьиных кучках двигаются, и хлопочут, и суетятся, как лилипуты Гулливера. Ревностные члены разрозненного тела, они угощают святую Русь стишками на манер Ламартина, драмами на фасон Шиллера, повестями — жалкими пародиями заграничных и без того карикатурных повестей и, наконец, той чудовищной иеблагопристойностию, которую называют, с позволения сказать, журнальной критикой...

Но все это, слава богу, не русское. Русский никогда не узнает своего родного гения в жалком фигляре, который коверкается и пляшет перед ним в лохмотьях, и, поверьте, на толкучем рынке собирателей чужого ума русский человек не отзовется ни на один голос ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему давай родные звуки, родные картины, чтоб забилось его сердце, чтоб засветлело в его душе. Ему говори его языком о любимых его поверьях, о мудрых и простых обычаях его края, о живых его потребностях... Но, увы, поверья наши и обычаи исчезают. Все, что живет еще в памяти народной, все, что могло бы быть основой словесности народной, теряется с каждым днем с переменой наших нравов. Русский гений издыхает, задыхаясь от всего, что на него накидали. Бедный ребенок, он хотел только подрасти да приосаниться, чтоб молвить слово твердое по-своему, чтоб гаркнуть на вселенную по-нашему, по-нашенски, во всю богатырскую грудь; а мы на него навьючили французский парик да немецкий кафтан да опутали его в ободранные ткани театрального гардероба, и не видим мы, не хотим видеть, что бедный мальчик чахнет и плачет неутешно. Но что делать? спросите вы. Отвечать не трудно. Освободить ребенка, бросить в печьку театральный хлам и обратиться снова к естественным, к родным началам. Просвещение отдалило нас от народа; через просвещение обратимся снова к нему. Кто знает: быть может,

в простой избе таится зародыш будущего нашего величия, потому что еще в одной избе, и то где-нибудь в захолустье, хранится наша первоначальная, нетронутая народность.

Люди совестливые! Не ищите родных вдохновений в петербургских залах, где танцуют и говорят по-французски.

Поверьте, вы найдете их скорее в бедной хате, заваленной снегом, на теплой лежанке, где слепой старик поведает вам нараспев чудные предания, полные огня и душевной молодости. Спешите вслушиваться в рассказы стариха, потому что завтра старик умрет с своими напевами на устах и никто, никто не повторит их более за ним.

Многое уже погибло таким образом невозвратно. Многое пропадает с каждым днем. Старина наша исчезает и уносит народность с собой. А что же получаем мы взамен?

Не свежую пищу, не румяные плоды, а душевную ветошь, тлеющую падаль. Скажите же, не лучше ли нам бросить в окно литературную дрянь и приняться с терпением подбирать все наше первобытное, слово к слову, где бы оно ни было, не брезгая, как модная графиня, простотою крестьянской, а дорожа, как русский, всем, что остается в нас русского. Познанием старины нашей дойдем мы до познания нашего языка, нашего народного духа, нашего народного требования. И тогда будет у нас словесность своебытная, живая и сильная, выражение не переимчивой, вялой бездарности, а полезного, трудолюбивого успеха, предмет народной гордости, народного наслаждения, народного усовершенствования... Я немного разгорячился, — продолжал Иван Васильевич. — Но не прав ли я?.. Признайтесь, вы, кажется, размышляете?..

Василий Иванович не отвечал ни слова. Красноречивая выходка Ивана Васильевича, как вообще все, что касалось до русской литературы, произвела на него обычное свое действие: он спал сном праведного.

Глава XI

РУССКИЙ БАРИН

Погода была пасмурная. Не то дождь, не то туман облекали мертвую окрестность влажною пеленой. Впереди вилась дорога темнокоричневой лентой. На одинокой версте сидела галка. По обеим сторонам тянулись изрытые поля да кое-где мелкий ельник. Казалось, что даже природе было скучно.

Василий Иванович, завернувшись в халат, ергак и шушун, лежал навзничь, стараясь силой воли одолеть толчки тарантаса и заснуть наперекор мостовой. Подле него на корточках сидел Иван Васильевич в тулупчике на заячьем меху, заимствованном по необходимости у товарища.

С неудовольствием поглядывал он то на серое небо, то на серую даль и тихо насвистывал «Nel furor della tempests» — арию, которую, как известно, он в особенности жаловал.

Никогда время не идет так медленно, как в дороге, в особенности на Руси, где, сказать правду, мало для взора развлеченья, но зато много беспокойства для боков. Напрасно Иван Васильевич старался отыскать малейший предмет для впечатления. Все кругом безлюдно и безжизненно. Прошел им навстречу один только мужик с лаптями на спине да снял им шапку из учтивости, да две клячи с завязанными передними ногами приветствовали около плетня поезд их довольно странными прыжками. Иван Васильевич схватил было уже свою книгу и

хотел было бросить ее с негодованием в большую лужу, в которой тарантас едва не остался, как вдруг он разинул рот, вытаращил глаза и протянул руку. Вдали показался какой-то странный ком, как черное пятно на коричневом грунте.

Иван Васильевич встрепенулся.

— Василий Иванович, Василий Иванович!

— А?.. Что, батюшка?..

— Вы спите?..

— Да, черта с два, будешь тут спать!

— Взгляните-ка на дорогу.

— Чего я там не видал?

— Никак кто-то едет.

— Купцы, верно, на ярмарку.

— Нет; это, кажется, карета.

— Что, что?.. А, да и в самом деле... Уж не губернатор ли?

Тут Василий Иванович поправил немного беспорядок своего дорожного костюма, из лежачего положения с трудом перешел в сидячее, поправил козырек картуза, очутившийся на левом ухе, и, подняв ладонь над глазами, слегка приподнялся над пуховиком.

— А, да и в самом деле карета, да и стоит еще. Верно, изломалось что-нибудь. Рессора опустилась; шина лопнула. В этих рессорных экипажах то и дело что починка. То ли дело, знаешь, хороший тарантас. Не изломается, не опрокинется. Только дорога бы хорошая, так даже и не тряско.

Между тем они подвигались к предмету их любопытства. В самом деле, посреди дороги стояла карета, и даже карета щегольская, дорожный дормез. Ни сзади, ни спереди не было видно чемоданов, перевязанных веревками, ни коробов, ни кульков, употребляемых православными путешественниками. Карета, исключая грязных прысков, была устроена, как для гулянья. Из окна выглядывал господин в очках и турецкой ермолке и ругал своих людей самыми скверными словами, как будто они были виноваты, что в английской карете лопнула рессора.

— Эй вы! — закричал он довольно неучтиво подъезжающему тарантасу. Помогите, пожалуйста.

— Стой! — закричал Василий Иванович.

Иван Васильевич ахнул.

— Князь... Как это вы здесь... в России?

Князь с недоверчивостью взглянул на нежданного знакомца и спросил сквозь дым сигарки:

— А вы как меня знаете?

Иван Васильевич поспешно сбросил тулупчик на заячьем меху, выскочил из тарантаса и подбежал к дверцам кареты.

— Здравствуйте, князь. Вы меня не узнаете: я Иван Васильевич... Мы с вами виделись прошлого года в Париже.

— Ах, это вы? *Que diable!* [Что за черт! (франц.)] Какой черт думал вас здесь встретить.

— Да вы-то сами как сюда заехали? Я думал, что вы всегда живете за границей.

— Грешный человек! Я душой русский, но не могу жить в родине. Понимаете, кто привык к цивилизации, к жизни интеллектуальной, тот без них жить не может. Эй, вы, скоты, — прибавил он, обращаясь к своим слугам, возьмите их кучера, да делайте скоро. Чего вы, каналы, смотрели? Я пятьсот палок вам, каналы. Выдрать прикажу, чтоб помнили. Русский народ! *Сага patria!* [Дорогая родина! (итал.)] — продолжал он презрительно, обращаясь к Ивану Васильевичу. — Другого языка не понимают. Без палки ни на шаг.

Мои люди остались за границей, а со мной болваны, знаете, которые еще батюшке служили.

— Куда же вы едете? — спросил Иван Васильевич.

— Ах, не спрашивайте, пожалуйста. Такая тоска, что ужась. В деревню еду. Нечего делать. Бурмистр оброка не высылают; черт их знает, что едят. Неурожай у них там какой-то, деревня какая-то сгорела. А мне что за дело?

Я человек европейский, я не мешаюсь в дела своих крестьян, пускай живут как хотят, только чтоб деньги доставляли аккуратно. Я их насквозь знаю. Такие мошенники, что ужаси. Они думают, что я за границей, так они могут меня обманывать. Да я знаю, как надо поступать. Сыновей бурмистра в рекруты, неплательщиков в рабочий дом, возьму весь доход на год вперед, да на зиму в Рим... Ну, а вы что поделываете?..

— Да я так-с... Хотел было путешествовать.

— Как? По России?

— Да-с.

— Ах, это оригинальная идея. Как бишь это говорится? Охота пуще, пуще чего-то...

— Пуще неволи...

— Да, да, пуще неволью. Что ж вы хотите здесь видеть?

— То, чего не увидишь за границей.

— Право! Желая вам удовольствия и успеха. По-моему — умирать за родину, только жить за границей.

— Разумеется! — сказал Иван Васильевич. — За границей жить веселее.

— То есть не везде. В Германии, например, жить зимой несносно. Философы, ученые, музыканты, педанты на каждом шагу. Париж — так. Париж на все вкусы. Летом Баден. Зимой Париж. Иногда Италия. Вот жизнь, так жизнь! Вы помните маленькую герцогиню бенвильскую?

— Как же.

— Она теперь с нашим русским, с Сережей.

— Право? Каковы наши молодцы!

— А про наших барынь и говорить нечего. Так весело живут, что страх. Помните вы?..

Тут князь начал что-то довольно тихо говорить на ухо Ивана Васильевича.

Иван Васильевич прерывал только с удивлением:

— Как, и она?..

Князь улыбался и продолжал себе шепотом:

— И она; да и как еще... да то-то и то-то, да с тем-то и с тем-то... да вот еще... каковы наши дамы?.. А?..

— Ну! А вы что, князь? — спросил, наконец, Иван Васильевич.

— Да я все тот же. Скучаю. Жениться поздно. Остепениться рано. Для службы стар, для дела не гожусь. Люблю жить спокойно. Правду сказать, радости мало, ну, а кое-как время убиваю... Скажите, пожалуйста, что это за странная фигура сидит с вами в вашей бричке?

— В тарантасе, — сказал, запинаясь, Иван Васильевич.

— А! Эта штука называется тарантасом? Та-ран-тас.

Так ли?

— Да.

— Тарантас. Буду помнить... Ну, а кто едет с вами?

— Это Василий Иванович. Помещик казанский. Он неуклюж немного... и оригинал большой, но человек неглупый и рассудительный.

— Право, я этаким странной фигуры давно не видывал. Ну, починили, что ли?

— Починили, ваше сиятельство!

— Ну, прощайте, любезный, надеюсь с вами еще видеться в Париже... Не забудьте, Rue de Rivoli, bis 17 [Улица Риволи, 17 бис (франц.)].

Недели через две я надеюсь перебраться из России... Откровенно говорить, я совершенно отвык от здешних нравов...

Ну, пошел! — закричал он, высунувшись в окно. — А ты, Степан, хорошенько ямщика в спину, слышишь ли? В спину его, каналью, чтоб гнал он кляч, пока не издохнут.

Грозный кулак Степана поднялся над ямщиком, и карета помчалась стрелой, закидав грязью и тарантас и наших путников.

— Батюшка, — спрашивал Василий Иванович, пока Иван Васильевич снова карабкался на свое седалище, — скажи-ка из милости, кто это такой?..

— Знакомый мой парижский.

— Француз?

— Нет, русский. Только в России жить он не может — не по его нраву. Отвык совсем.

— Извольте видеть! Куда же он едет?

— В деревню, собирать недоимки.

— А где его деревня?

— В Саратове.

— Помилуй, братец, да там третий год ничего не родится.

— Ему какое дело! Он слышать о том не хочет.

— Вот как-с. Ну, а как оберет он крестьян своих, так тотчас и за границу?

— Тотчас.

— На житье?..

— На житье...

— Поросенок! — промолвил вдруг красноречиво Василий Иванович и снова повалился на свой пуховик.

И снова потянулась мертвая окрестность; снова сырой туман облек путников, и снова стали мелькать одинокие версты в безбрежной пустыне.

Прошел час, другой. Путники, казалось, о чем-то думали. Вдруг Василий Иванович прервал молчание довольно странным монологом:

— А в самом деле, черт знает что это за народ русские дворяне... Много, изволишь ты видеть, денег завелось, так надо с немцами протранжирить, чтоб русскому человеку невзначай чего-нибудь не досталось. Уж точно будто в России и жить нельзя, что все они вон так и лезут.

Видно, курьез там большой, то есть такой курьез, какого мы и представить не можем. Скажи-ка, братец, что за границей люди так же ходят на ногах, как и мы, дурни?

— Совершенно так.

— Шутишь. Так-таки и ходят, и женятся, и умирают тоже?

— И умирают.

— Что ты говоришь! По крайней мере там нищих нет, притеснений нет, голода не бывает?

— Все есть.

— Статочное ли дело! Ну скажи мне по крайней мере, так что же ты видел такого особенно замечательного за границей?

— Россию, — отвечал Иван Васильевич.

— Вот те на! Так, кажется, и не стоило беспокоиться ездить так далеко?

— Напротив. Россию понять и оценить можно, только посмотрев на другие страны.

— Объясни, батюшка.

— Объяснить нетрудно. Вы знаете, что истина обнаруживается только посредством сравнений; следовательно, только посредством сравнений можем мы оценить преимущества и недостатки нашей родины. И кроме того, чужой пример может указать нам на то, чего мы

должна остерегаться и что должны мы перенять.

— Что же бы перенять, по-твоему?

— К сожалению, многое. Во-первых, чувство гражданственности, гражданской обязанности, которого у нас нет.

Мы привыкли сваливать все на правительство, забывая, что ему нужны орудия. Мы служим не по убеждению, не по долгу, а для выгод тщеславия, и хотя мы любим свою родину, но любим ее как-то молодо, нерассудительно горячо. Общее благо у нас пустое имя, которого мы даже не понимаем. С чувством гражданственности получим мы стремление к вещественному и умственному усовершенствованию, поймем всю святость прочного воспитания, всю высокую пользу наук и художеств, все, что улучшает и облагораживает человека. Германия передаст нам свою семейственность, Франция свою пытливость в науках, Англия свои торговые познания и чувство государственных обязанностей, Италия даже перенесет на морозную нашу почву свои божественные искусства.

— Вот как! — сказал Василий Иванович. — А чего же нам остерегаться?

— Того, что губит Европу... Духа самонадеянности, кичливости и гордости. Духа сомнения и неверия, с которыми движение вперед делается невозможным. Духа раздора и беспокойства, который всё уничтожает. Остережемся надменности германской, английского эгоизма, французского разврата и итальянской лени, и перед нами откроется такой путь, какой никакому народу не открывался. Взгляните на неизмеримое пространство нашей земли, на единство ее образования, на гигантское ее построение, и на душе вашей станет страшно... И потом взгляните на народ, населяющий эту землю, народ правдивый, веселый, умный, духа непоколебимого и силы исполинской, и вам станет легко на душе, и вы порадуетесь судьбе великой земли. Но лучший залог, лучший признак настоящего и будущего величия России — это могучее ее смирение. У нас нет, как за границей, ни пустых возгласов, ни вздорного шума из пустыков, потому что мы друг перед другом не должны надуваться, чтоб придать себе важности. В нас спокойствие и сознание силы, оттого мы не только иногда кажемся равнодушными к родине, но как будто совестимся перед Европой и хотим извиниться в своих преимуществах. Только не трогайте святой Руси, не то все встанем без крика и незваных гостей одними шапками закидаем.

— Да, да, да, — сказал Василий Иванович, — так, потвоему, замечательно за границей...

— Прошедшее.

— А в России?

— Будущее.

— Да, да... Ну... Хорошо. Только, правду тебе сказать... не понимаю я, как вашу братью пускают шататься по свету... Набираетесь таких мыслей и говорите такие экивоки [Экивоки (от франц. *equivoque*) — двусмысленные речи], что сразу даже и не поймешь.

— Э, Василий Иванович, путешествия вреда никому не приносят. Умный видит и становится умнее, и тем уже приносит пользу. А дураков и в России не нужно... много и без путешествующих останется.

Разговаривая таким образом, они хоть медленно, но все-таки подвигались. Ночь прошла кое-как в сопровождении толчков и прерываемого засыпания, и на другой день рано развилась перед ними чудесная панорама въезда в Нижний-Новгород.

ПЕЧОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Если когда-нибудь придется вам быть в Нижнем-Новгороде, сходите поклониться Печорскому монастырю. Вы его от души полюбите.

Уже подходя к нему, вы почувствуете, что в душе вашей становится светло и безмятежно.

Сперва все бытие ваше как будто расширится, и существование ваше станет вам яснее от одного взгляда на роскошную картину приволжского берега. Налево, у ног ваших, под ужасною крутизною, вы увидите широкую реку-матушку, любимую народом, прославленную русскими поверьями и песнями; гордо играет она и блещет серебряной чешуей, и плавно и величественно тянется в сизую даль.

Направо, на скате горы, громоздятся дружною кучею между кустов и деревьев живописные хаты, а над ними, на обрыве, вдавшемся в реку, вы видите белую ленту монастырской ограды, исреди которой возвышаются куполы церквей и келий иноков.

Обогните гору; спуститесь по широкой дороге к монастырским воротам и отряхните все ваши мелочные страсти, все ваши мирские помышления. Вы в монастырской ограде.

Вокруг вас печально тянутся длинные строения. Посреди двора две старинные церкви соединяются крытыми наружными переходами. Здесь, в этих церквях, безмолвных свидетелях нашей забытой старины, под тяжелыми их сводами и резными иконостасами, много было вылиты и слез и молитв от набегов татар, от вторжений поляков, о славе и многолетию князей нижегородских.

Ступени церквей уже заросли травой. Кругом, между густым кустарником, белеют памятники и уныло наклоняются на землю надгробные кресты. Здесь все дико и мрачно. Здесь порог суеты человеческой. Здесь все тихо, все молчит, все мертво, и лишь изредка монах в черной рясе мелькает тенью между могил.

Скромный домик архимандрита примыкает к обители всей братьи. Домик прост и не роскошен, но из окон его, с ветхого его балкона открывается самая роскошная картина, пестреют вдали все богатства России.

С одной стороны на гористом берегу возвышается древний кремль, и чешуйчатые колокольни высоко обозначаются на голубом небе, и весь город наклоняется и тянется к приволжскому скату. С другой, луговой стороны взор объемлет необозримое пространство, усеянное селами и орошенное могучими течениями Оки и Волги, которые смешивают свои разноцветные воды у самого подножия города и, смешиваясь, образуют мыс, на котором кипит и бушует всему миру известная ярмарка; на этом месте Азия сталкивается с Европой; Восток с Западом; тут решается благоденствие народов; тут ключ наших русских сокровищ. Тут пестреют все племена, раздаются все наречия, и тысячи лавок завалены товарами, и сотни тысяч покупателей теснятся в рядах, балаганах и временных гостиницах. Тут все население толпится около одного кумира — кумира торговли. Повсюду разбитые палатки, привязанные обозные телеги, дымящиеся самовары, персидские, армянские, турецкие кафтаны, перемешанные с европейскими нарядами, повсюду ящики, бочки, кули, повсюду товар, какой бы он ни был: и брильянты, и сало, и книги, и деготь, и все, чем только не торгует человек. Но этого мало: вода не уступает земле. Ока и Волга тянутся одна с другой, как два огромные войска, сверкая друг перед другом бесчисленным множеством флагов и мачт. Тут суда всех именованний, со всех концов России, с изделиями далекого Китая, с собственным обильным хлебом, с полным грузом, ожидающие только размена, чтоб снова идти или в Каспийское

море, или в ненасытный Петербург.

Какая картина и какая противоположность! Внизу — жизнь во всем разгуле страстей, наверху — спокойствие келии; там переменчивость, опасения, страх, буйство и страсти; здесь безмятежная совесть и слово прощения на устах. И каждое утро и каждый вечер над шумным торжищем вселенной мирный пастырь тихо творит молитву и невольно думает и задумывается о ничтожестве земной суеты.

А ночью, когда небо усеяно звездами, когда в Волге отражается месяц и кое-где мелькает на берегу забытый огонек, а вдали звонко раздаётся заунывная песня бурлака, как хорошо на этом месте, какая душевная прохлада навеивается тогда свыше, какое тихое, светлое счастье наполняет тогда целое бытие. Поверьте мне: если вам придется быть в Нижнем-Новгороде, сходите поклониться Печорскому монастырю.

К тому же, войдя в него, вы как-то невольно переноситесь в другое время, к другим обычаям, к другой жизни.

Перед вами воскресает какой-то странный остов погибшей старины. Вам показывают древнюю ризницу, древнюю утварь, древние синодики. Вы стоите посреди полуобрушившихся строений; вы живете прошедшей жизнью, и редкие остатки нашего народного искусства как бы печально упрекают нас в нашем непростительном нерадении.

И да не покажутся странными эти слова. Искусства существовали у наших предков, и если не в наружном развитии, то по крайней мере в художественной понятливости и в художественном направлении. Наши песни, образа, изукрашенные рукописи служат тому доказательством. Но зодчество оставило значительнейшие следы, и в таком обилии, в таком совершенстве, что теперешние наши здания, утратив оригинальность, характер и красоту, чуждые русскому духу и требованию, кажутся совершенно ничтожными и неуместными. Но тут рождается вопрос: возможно ли народное зодчество и как отыскать его начала, как создать его правила? Оно возможно только посредством изучения и разложения оставшихся памятников. И как бы это ни показалось странным, но уж с первого взгляда находим мы два важные указания в двух зданиях, менее прочих утративших свой первобытный образ: в церквях и избах. И в самом деле, изба и церковь не могут ли сделаться основанием русского искусства так, как народность и вера служат основанием русского величия?

Изучая здания сии не в целом, а в подробностях, мы находим почти целую историю нашей родины: наличники, карнизы, перила, крыши, окна, все отдельно принадлежит к известной эпохе, к особому случаю. И тут, как во всем, Европа сталкивается у нас с Азией, и восточные арабски нередко сплетаются с итальянскими украшениями. Замечательно тоже, что наружность наших храмов приняла форму азиатских минаретов, вероятно по вторжении татар; но внутренность их осталась чисто византийская. Не служит ли это символом, что если враги и поработили наш край, то сила их была только наружная, а что в глубине сердца своего святая Русь никогда не изменяла своему закону и никогда не изменит своему призванию? Вообще можно сказать, что в нашей народной архитектуре господствуют три начала: начало византийское, или греческое, перенесенное вместе с верою во времена Владимира; начало татарское, или испорченное арабское, водворенное с татарами, и, наконец, начало времен Возрождения, заимствованное у Запада в царствование Иоанна Грозного. Изучение этих начал и взаимной их ответственности могло бы служить основой для наших зодчих.

Им предстояла бы, кажется, великая и прекрасная задача посредством мелких украшений, отдельных частей, уцелевших подробностей, словом посредством всех указаний, разбросанных по России, воссоздать исчезающее искусство, отнюдь не уничтожая освященную веками связь трех различных начал, но изучив только каждое начало в настоящем его источнике. И отчего бы, кажется, не придать снова нашим строениям тот

чудный, оригинальный вид, который так изумлял путешественников; зачем уничтожать те странные, фантастические формы, те чешуйчатые крыши, те фаянсовые наличники и подоконники, те изразцовые карнизы, заменяющие на севере камень и мрамор, которые так живописны для взора и придают каждому зданию такой неожиданный и своеобразный вид. Пусть зодчество водворит на Руси народное искусство, а за ним последуют и живопись, и ваяние, и музыка. Первые увековечат нашу жизнь и нашу славу, а последняя будет шевелить и возвышать душу близкими сердцу звуками и новыми узами прикует нас к нашей родине.

Но обратимся снова к Печорскому монастырю. Его история проста. Прежде он был богат. Теперь он беден.

Прежде к нему было приписано 8000 душ и он имел много вкладчиков, которые все записаны в синодиках, с тем чтоб в память их творимы были молитвы. Теперь вотчины отошли в другое владение. Щедрые вкладчики исчезли. Одни лишь молитвы остались неизменными, как прежде.

Самый древний монастырский синодик ведется с царствования Иоанна Грозного и включает в себе именные списки многих владетельных и боярских домов, перемешанных с скромными подаяниями о упокое душ подъячих приказной избы, судовых ярыжек, посадских, дьяков и простых крестьян. Странно видеть эту огромную книгу смерти, где вся мертвая старина вытягивается перед нами бесконечной панихидой. Тут поименованы князья киевские, владимирские, московские, нижегородские; тут исчислены епископы и архимандриты, из которых одних монастырских 35. Тут встречаются имена русского боярства: роды Годуновых, Репниных, Бельских, Воротынских и многих других; род Столыпина-Ромодановского; род гостя Василия Шустова, род мурз мордовских, какой-то князь Симеон убиенный, род боярина и дворецкого князя Алексея Михайловича Львова и многие, многие другие, которые исчезли навсегда, оставив лишь одно имя на пожелтевших листках синодика. И в этих немых названиях скрываются, может быть, тайны, затерянные навек, высокие мысли, прекрасные дела, твердые чувства, и много счастья и много горя, и много надежд, и много обманов, целые важные события, быть может целая исчезнувшая летопись, целый мир, погибший навсегда.

В кормовом синодике хранятся описи вкладов, и между ними поражают вас следующие слова:

«Царь Иоанн Васильевич велел написать в синодике князей и бояр и прочих опальных людей по своей государственной грамоте. А дал по ним на поминок их 800 рублей, а панихиду архимандриту служить собором. В 1620 году по убиенном архимандрите Иове дано вкладами деньгами 70 рублей и ружьями на 123 рубля 13 алтын 4 деньги.

В 1625 году царь и великий князь Михаил Федорович прислал в монастырскую казну к архимандриту Макарию 30 рублей на поминовение царицы Марии Володимеровны.

И в память таких дней, — гласит синодик, — ставить на братию кормы большие, с калачами, с рыбою и с медом».

Так стоит Печорский монастырь с XIV столетия, с царствования великого князя Иоанна Даниловича Калиты, не вмешиваясь в дела мирские, но лишь тщательно записывая в свои летописи тления имена грешных, за которых он молится. В истории известно только, что во время нашествия татар обитель была опустошена, а в 1596 году она вдруг спустилась по скату горы на 50 сажень. Такое необычайное событие было признано целою Россией за горестное предзнаменование. Но царская щедрость царя Михаила Федоровича прочно восстановила монастырь на новом основании. До сих пор видна еще часовня, уцелевшая на том месте, где прежде стояла целая обитель. Еще известно, что когда Россия изнывала под иггом поляков, печорский архимандрит Феодосии был послан с чиновными и избранными

людьми в Пурецкую волость к князю Пожарскому, склонил его принять начальство над войском и тем спас Россию от тяготеющего над нею ярма.

С того времени Печорский монастырь забыт в русской истории. С того времени мирские волнения не переступали более за его благочестивую ограду, и тихо и грустно стоит он над Нижним, прислушиваясь печально к неумолкаемому шуму кипящего базара. Он все видел на своем веку: и междоусобия, и татарские набеги, и польские сабли, и боярскую спесь, и царское величие. Он видел древнюю Русь, он видит Русь настоящую, и попрежнему тихо сзывает он православных к молитве, попрежнему мерно и заунывно звонит в свои колокола.

Поверьте мне: если вы будете в Нижнем-Новгороде, сходите помолиться в Печорский монастырь.

Глава XIII

ПОМЕЩИК

Тарантас медленно катился по казанской дороге.

Иван Васильевич, презрительно поглядывал на Василия Ивановича и мысленно бранил его самым неприличным образом.

«О дубина, дубина, — говорил он про себя, — самовар бестолковый, подъяческая природа, ты сам не что иное, как тарантас, уродливое создание, начиненное дрянными предрассудками, как тарантас начинен перинами. Как тарантас, ты не видел ничего лучше степи, ничего далее Москвы.

Луч просвещения не пробьет твоей толстой шкуры. Для тебя искусство сосредоточивается в ветряной мельнице, наука в молотильной машине, а поэзия в ботвинье да в кулебяке. Дела тебе нет до стремления века, до современных европейских задач. Были бы лишь у тебя щи, да баня, да погребец, да тарантас, да плесень твоя деревенская. Дубина ты, Василий Иванович! И бедные мои путевые впечатления погибают от тебя; я просил тебя остаться в Нижнем, дать мне время все обегать, все осмотреть, все описать. Куда! Ярмарка, говорил ты, еще не началась.

Монастырей и церквей и в Москве много, там бы успел насмотреться. А теперь, батюшка, не прогневайся, некогда.

Авдотья Петровна дожидается. Мужички давно встречу заготавливают. Жнитво на дворе. Староста Сидор хоть и толковый мужик, на него положиться бы и можно, да вдруг запьет, мошенник; русский человек не может быть без присмотра. Авдотья Петровна хозяйство, правда, понимает, ну да иной раз, известно, надо и прикрикнуть и по зубам съездить, а для женщины все-таки это дело деликатное. Словом, садись, Иван Васильевич. Ступай не останавливаясь. Тарантас-то чужой. Да и везут-то тебя в долг».

При таком грустном воспоминании Иван Васильевич почел нужным вступить с Васильем Ивановичем в дипломатический разговор.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чем я думаю?

— Нет, батюшка, не знаю.

— Я думаю, что вы славный хозяин.

— И, батюшка, какой хозяин. Два года хлеба не молотил.

— В самом деле, я думаю, Василий Иванович, нелегко сделаться хорошим хозяином?

— Да, поживи-ка лет тридцать в деревне, авось сделаешься, коли есть способность, а не то не прогневайся.

— Спасибо за совет.

— Изволишь видеть, сударь ты мой, я тебе скажу правду такую, какую никакой немец не поймет. Дай русскому мужику выбор между хорошим управляющим и дурным помещиком, знаешь ли, кого он выберет?

— Разумеется, хорошего управляющего.

— То-то, что нет. Он выберет дурного помещика.

«Блажной маленько, — скажет он, — да свой, батюшка; он отец наш, а мы дети его». Понимай их, как знаешь.

— Да, — сказал Иван Васильевич, — между крестьянами и дворянством существует у нас какая-то высокая, тайная, святая связь, что-то родственное, необъяснимое и непонятное всякому другому народу. Этот странный для наших времен отголосок патриархальной жизни непохож на жалкое отношение слабого к сильному, удрученного к притеснителю; напротив того, это отношение, которое выражается свободно, от души, с чувством покорности, а не боязни, с невольным сознанием обязанности, уже давно освященной, с полною уверенностью на защиту и покровительство.

— Да, да, да, — прервал Василий Иванович. — Ты понимаешь, что в хозяйстве ты с наемщиком ничего путного не сделаешь. Русский мужик должен тебя видеть и знать, что он для тебя работает и что ты видишь его, и тогда он будет работать весело, охотно, успешно. После-де бога и великого государя закон велит служить барину. На чужих работать обидно, да и не приходится вовсе, а на барина сам бог велит. Они для тебя, ты для них. Вот самый русский обычай и лучшее хозяйство.

— А правила для управления, Василий Иванович?

— Да какие, брат, правила! Привычка, сноровка да божья воля. Не суйся за хитростями и смотри, чтоб мужик был исправен, да не допускай нищих; заведи подворную опись, не для переплета, а для дела, понимаешь ли? да и смотри в оба, чтоб у мужика было полное имущество, полный, так сказать, комплект.

— Что ж это такое?

Вот что. У исправного мужика должна быть всегда в наличности хорошая крытая изба с сараем, две лошади, одна корова, десять овец, одна свинья, десять кур, две телеги, двое саней, одна соха, одна борона, одна коса, двое серпов, одна колода, две кадушки, один бочонок, одно решето, одно сито. Кроме того, если у него нет особой промышленности, то он в яровом и в озимом поле должен иметь по две засеянные десятины и выгон для скота. Изволишь ты видеть: есть все это у мужика — мужик исправен.

Есть у него лошадка лишняя да клади две хлеба в запасе — мужик богат. Нет у него чего-нибудь из этого — мужик нищий. Простая, кажется, механика. Первое мое правило, Иван

Васильевич, чтоб у мужика все было в исправности.

Пала у него лошадь — на тебе лошадь, заплатишь помаленьку. Нет у него коровы — возьми корову, деньги не пропадут. Главное дело — не запускать. Недолго так расстроить имение, что и поправить потом будет не в силу.

Если можешь и сумеешь, — что бы тебе ни говорили мужики, заведи для них общественную запашку и мирской капитал. Из этих денег плати за них подушные и вообще исполняй сам от себя казенные повинности, дорожные, подводные, разумеется, что только возможно. Даже при сдаче рекрут бери издержки на себя. Мужик отвечает тебе, а ты за него и за себя отвечаешь правительству и даешь ему пример повиновения и исполнения своей обязанности.

— А мирские дела, раскладки, приговоры? — спросил Иван Васильевич.

— Мирские дела предоставь, братец, миру. Знаешь ли, что у нас на Руси ведется в волостях с исстари такой порядок, какой ни немец, ни француз, как они себе ни ломай голову, не выдумают. Посмотри, как они ровно и справедливо каждый год меняют между собой участки земли; послушай, как они решают тяжбы и ссоры; вникни, брат, хорошенько, как они иногда умно притворяются и как иногда мудро говорят.

— Я думаю, — заметил Иван Васильевич, — что мирские сходки должны быть отдаленным преданием прежних вечевых сходбищ.

— Не знаю, батюшка. Это уж не мое дело. Мое дело, чтоб мужик был сыт и здоров, без баловства только. Плати оброк исправно, на барщину выходи как следует. Поработал три дни — и поклонился; ступай, куда хочешь, а дело свое исполни. Чай, ведь за три дни работы и за вашей-то за границей нет таких угодий для крестьянина... А?

— Конечно, — заметил Иван Васильевич.

— То-то же. Немцы да французы жалеют об нашем мужике: «Мученик-де!» говорят, а глядишь, мученик-то здоровее, и сытее, и довольнее многих других. А у них, слышал я, мужик-то уж точно труженик; за все плати: и за воду, и за землю, и за дом, и за прут, и за воздух, за что только можно содрать. Плати аккуратно. Голод, пожар — все равно. Плати, каналья! Ты вольный человек. Не то вытолкают по шеям, умирай с детьми где знаешь... нам дела нет. Уж эти мне французы! — прибавил Василий Иванович, — все кричат, что у нас бесчеловечно поступают. А у них-то каково? Добро бы придумали что-нибудь путное, а то черт знает что за дичь городят. У русского человека уши вянут; ну, а признайся, тебе, чай, нравится?..

— Почему же? — спросил Иван Васильевич.

— Да ты, брат, ведь либерал. Все вы, молодые люди, либералы. Все не по-вашему. И то не так, и это не так, а спросишь, наставьте, добрые люди, — так и станете в тупик.

— У вас много дворовых? — прервал поспешно Иван Васильевич.

— Грешный, брат, человек. Много этих окаянных расплодилось. Для прислуги, знаешь, надо; ну, да и Авдотье Петровне нельзя уже чем и не потешиться. Полотно дома, знаешь, ткут; ковры прекрасные; право, можно похвастать.

Намедни послал я еще коврик домашней работы исправнику в подарок. Знатный коврик, знаешь, с ландшафтом, и охотник с ружьем в птицу стреляет. Поверишь ли? Исправник говорит, что это первый в уезде. Ну, Авдотья Петровна и рада. Ей, знаешь, и приятно: дело бабье.

— А фабрик у вас нет? — спросил Иван Васильевич.

— И слава богу! Сохрани тебя создатель от фабрик с хозяйственным устройством. У нас теперь между помещиками вошла в моду страсть строить фабрики на домашний манер. Расчет-то, кажется, прекрасный. Свой мужик должен нарубить и приготовить лес, потом должен строить, потом должен работать на фабрике, подвозить дрова, чинить и делать машины и потом на своих лошадях развозить по городам товар. Все свой мужик. Ничего, кажется, не стоит, потому что, изволишь видеть, — своими. А на поверку что выходит?.. Вся эта лишняя работа на столько же отнимает земледельческой работы, которая, кажется, все-таки самая важная. Хорошие мужики делаются пьяными мастеровыми; дети их становятся голодными дворовыми, ободранными, пьяными, неблагодарными бестиями, которых кормишь черт знает за что и которые всем недовольны и первые буяны в селе. Лошади крестьянские перепадают. Силы крестьян истощатся. Заведется распутство, а к тому обманывать и обкрадывать тебя так будут, что любо, — как ты ни остерегайся, и в имении пойдет все вверх дном, такая катавасия, такой конфуз, что своих на найдешь. Вот тебе и фабрика. Нет, по-моему, если место у тебя по коммуникациям и выгодное для фабрики, есть у тебя изобилие леса, вода без употребления, а главное дело чистый, свободный капитал, не зависимый от имения, не доставшийся посредством залога, так тогда с богом заводи фабрику, но заводи ее на коммерческой ноге, как бы в самой Москве, на Кузнецком мосту. Ты уж фабрикант, а не помещик. Не смешивай этих двух дел. Не требуй от мужика ни прута лишнего, ни лишнего шага, да помни крепко, братец, что там, где заведется фабрика на домашний манер, мужики нищие, да, следовательно, и помещик-то сам недалеко от того же.

— Я думаю, — спросил Иван Васильевич, — что конторская отчетность должна быть очень затруднительна?

— Ничуть не бывало. У меня этим делом заведывает жена, Авдотья Петровна. Сперва делается разводка на треку вперед. Потом в полевом журнале записывается, что в треку исполнено. Для ужина и замолота особая тетрадь да две приходно-расходные книги: одна для хлеба, другая для денег. Вот тебе и вся наша мудрость.

— А есть ли у вас госпиталь и прочие врачебные средства.. Заводите ли вы приюты для крестьянских детей во время полевых работ? Учредили ли вы ланкастерскую школу [Ланкастерская школа — система обучения, названная так по имени английского педагога Ланкастера (1778-1838)] взаимного обучения?

— Эге, ге, ге... брат, чего захотел! У меня Авдотья Петровна сама лечит больных простыми средствами. Иногда и помогает, а учит читать у нас кого угодно пономарь. Два мальчика сами напросились. Такие, право, бойкие, а другие не охотники... Отцы, говорят, грамоте не знали, к чему ж и нам знать?

— Ну, а что же вы делаете в голодные годы? — спросил Иван Васильевич.

— Да бог милует. Давно не было беды, да и запасы у меня в порядке. Ссуды ни у кого, слава богу, родясь на просил. Пятнадцать лет никак тому назад хозяйство-то еще, знаешь, было слабенькое, уж точно была невзгода.

Озимь еще с осени червь поел. Весной бог не дал дождя.

Словом, ни колоса, ни зерна, ровно ничего. Запасов не было. Что станешь тут делать? Пришли ко мне мужики и плачутся: «Беда, батюшка Василий Иванович! Ни себя, ни детей кормить печем. Знать, последний час пришел».

Ну, говорю я, ребяташки, что ж тут делать? У меня, слава богу, есть зерно в амбаре. Мог бы, правда, по тридцати рублей за четверть спустить, да бог не пошлет благословения на такое дело. Берите, пока хватит. Авось и прокормимся как-нибудь... Слава богу, всем достало.

— Да это прекрасно! — воскликнул Иван Васильевич.

— Что ж тут хорошего? Не умирать же им впрямь с голода. Да этого мало. Кругом меня помещики всё богатые, знатные, знаешь, такие живут себе за границей — где им подумать о мужике. Знаешь ли, до чего доходило? Целое село выйдет на большую дорогу обстановить проезжего.

— Как, грабят? — спросил Иван Васильевич.

— Нет, брат, не грабят, а станут мужики на колени:

«Сам, батюшка, видишь, не дай умирать, а за душу бога молить». И ко мне пришли, и я им все отдал, что осталось после моих собственных, отдал, разумеется, займы.

— И никогда не получили обратно?

— Знаешь ли ты русского мужика! Все получил до зерна. Правда, цена-то была уже другая... ну, да на сердце зато было весело...

— Так вас любят? — спросил Иван Васильевич.

— Сам увидишь, как домой приедем. Весь народ сбежится. «Батюшка-де Василий Иванович приехал...» Старый и малый, все высыпят на господский двор, кто с гусем, кто с медом, кто с чем попало. «Здравствуйте-де, батюшка Василий Иванович. Что-де ты так долго к нам не жаловал? А мы так о твоей милости стосковались». — «Здорово, православные. Чай, поминали меня?» — «Как, батюшка, не поминать. Ты сына моего от рекрутчины спас, ты, батюшка, дом мне построил; ты, батюшка, корову мне дал; ты, батюшка, дочь мою крестил; дай бог тебе, батюшка, здравствовать».

Глаза Василия Ивановича засверкали; Иван Васильевич взглянул на него с почтением... и сам тарантас показался ему едва ли не лучше самого щегольского иохимского дормеза.

Глава XIV

КУПЦЫ

На другой день, около вечера, тарантас въехал в небольшой, но весьма странный городок. Весь городок заключался в одной только улице, по обеим сторонам которой маленькие серобревенчатые домики учтиво кланялись проезжающим. В окнах большая часть стекол были выбиты и заменены масляной бумагой, из-за которой кое-где высывались истертые вицмундиры, рыжие бороды да подбитые чайники.

— Уездный город? — спросил, потягиваясь, Иван Васильевич.

— Никак нет-с, — отвечал ямщик, — заштатный...

Между тем в движении тарантаса происходило что-то совершенно необычайное. Твердая его поступь вдруг стала робка и нерешительна, как будто бы он сделал какую-нибудь глупость. Неужели он, который никогда не чинится, никогда не опрокидывается, он — краса и радость безорезной степи, осрамился на самой середине дороги и, как тщедушный рессорный экипаж, должен подлежать починке в городской кузнице? Печально и робко остановился он у станционного двора. Сенька слез с козел, обошел около него кругом, посмотрел под него, пощупал дрогу, пошатнул спицы, потом покачал головой и, сняв картуз, обратился к Василию

Ивановичу с неожиданной речью:

— Как прикажете, сударь, а эвдак он двух верст не пройдет. Весь рассыплется.

— Что? — спросил с гневом и ужасом Василий Иванович.

Если б Василию Ивановичу доложили, что староста его пьян без просыпа, что Авдотья Петровна обкушалась и нездорова, его бы огорчили подобные известия, но все-таки не так, как измена надежного, любимого тарантаса.

— Что? — повторил он с заметным волнением. — Что?..

Сломался?..

— Да по мне, все равно-с, — продолжал с жестокостью Сенька. — Как будет-с угодно-с. Сами извольте-с взглянуть. В переднем колесе шина лопнула... А вот-с в заднем три спицы выпали, да и весь-то еле держится. А впрочем-с... как прикажете-с. По мне-с, все равно.

— Что же, чинить надобно? — жалобно спросил Василий Иванович.

— Да как прикажете-с. А известно-с, надобно чинить.

— Да в Москве из Каретного ряда подмастерье давно ли осматривал?

— Не могу знать-с... Как будет-с угодно. А эвдак-с, сами изволите видеть, эвдак не дойдет-с до станции. Добро бы еще одна хоть спица выпала, так все бы легче. Можно бы проехать еще станцию, а может, и две бы станции... а то сами изволите видеть... Да и колеса такие непрочные...

Лес-то гнилой совсем... А впрочем, по мне все р...

— Ну, молчи уж, дурак! — сердито закричал Василий Иванович. — Полно зевать-то попустому... Марш за кузнецом, да живо, слышишь ли.

Сенька помчался на кузницу, а приезжие грустно вошли на станцию. Смотритель был пьян и спал, поручив заботы управления безграмотному старосте. Смотрительша была в гостях у супруги целовальника.

С полчаса дожидались кузнеца. Наконец, явился кузнец, с черной бородой, с черной рожей и черным фартуком. За починку запросил он сперва 50 рублей на ассигнации, потом, после долгих прений, помирился на трех целковых и покатил колеса на кузницу.

Староста засветил в чулане лучину, значительно поворочал подорожную между пальцами и, наконец, сказал с важностью:

— Лошади под экипаж-с готовы, как только ваша милость прикажете закладывать.

— Вот тебе и лошади! — заревел с досадой Василий Иванович. — Вот тебе, наконец, и лошади появились, когда ехать-то именно не в чем. Да черт ли нам в твоих лошадях!... Иван Васильевич!..

— Что прикажете-с?

— Да не напиток ли нам с горя чайку? Эи, борода, слышь ты, прикажи-ка самовар поставить. Чай, есть у вас самовар?..

— Самовар-то есть — как не быть самовару! — да поставить некому. Смотритель нездоров. Хозяйка ихняя в гостях, да и ключи с собой унесла. А вот недалечко здесь харчевня. Там все

получить можете. Коли угодно, вашу милость туда проводят...

— Что ж, пойдем — сказал Василий Иванович.

— Пойдем, — сказал Иван Васильевич.

— Эй ты! — закричал староста. — Сидорка, лысый черт, проводи господ к харчевне.

Они отправились. Харчевня, как все харчевни, — большая изба, крытая когда-то тесом, с большими воротами и сараем. У ворот кибитка с вздернутыми вверх оглоблями. Лестница ветхая и кривая. Наверху ходячим подсвечником половой с сальным огарком в руке. Вправо буфетная, расписанная еще с незапамятных времен в виде боскета, который еще кое-где высовывает фантастические растения из-под копоти и отпавшей штукатурки. В буфете красуются за стеклом стаканы, чайники, графины, три серебряные ложки и множество оловянных. У буфета суетятся два-три мальчика, обстриженные в кружок, в ситцевых рубашках и с пожелтевшими салфетками на тече.

За буфетной небольшая комната, выкрашенная охрой и украшенная тремя столами с пегими скатертями. Наконец, сквозь распахнувшуюся дверь выглядывает желтоватый бильярд, по которому важно гуляет курица.

В комнате, выкрашенной охрой, около одного из столяков сидели три купца: рыжий, черный и седой. Медный самовар дымился между их бород, и каждый из них, облитый тройным потом, вооруженный кипящим блюдечком, прихлебывал, прикрикивал, поглаживал бороду и снова принимался за работу.

— Ну, а мука какова? — спрашивал рыжий.

— Ничего-с, — отвечал седой, — нынешний год с рук сошла аккуратно. Грешно жаловаться. Вот-с в прошлом году, так могу сказать. Не приведи бог! Семь рублев с куля терпели.

— Ге, ге, ге, — заметил рыжий.

— Что ж, — прибавил черный. — Не все барыш. У хлеба не без крох. Выгружать, видно, много приходилось?

— Да на одной Волге раза три, что ли. Такие мели поделались, что не дай господи. А партия-то, признательно сказать, закуплена была у нас значительная.

— Коноводная? -спросил рыжий.

— Никак нет. Тихвинка да три подчалки. Ну, а уже перегрузка, известное дело. Кожу дерут, мошенники. Бога не боятся. Что станешь с ними делать!

— Кто ж от барыша бегают? — заметил рыжий.

— Вестимо! — прибавил черный.

— Та-ак-с! — добавил седой.

Рыжий продолжал:

— А я так в прошедшем году сделал оборотец. Куплено было, изволите видеть, у меня у татар около Самары несколько муки первейшего, могу сказать, сорта да кулей пятьсот, что ли, взято у помещика, самой этакой, признательно сказать, мизеристой. Помещик-то никак в карты проигрался, так и пришлась-то она поистине больно сходно. Гляжу я — мучишка-то дрянь, ну, словно мякина. Даром с рук не сойдет. Что ж, говорю я, тут думать. Взял да и

перемешал ее с хорошей, да и спустил всю в Рыбне откупщику за первый, изволите видеть, сорт.

— Что ж, коммерческое дело, — сказал черный.

— Оборотец известный, — закончил седой.

Между тем Василий Иванович и Иван Васильевич распорядились тоже около одного столика, потребовали себе чая и с любопытством начали прислушиваться к разговору трех купцов.

Вошел четвертый в синем изношенном армяке и остановился в дверях. Сперва перекрестился он три раза перед угольным образом, а потом, тряхнув головой, почтительно поклонился седому.

— Сидору Авдеевичу наше почтение.

— А, здорово, Потапыч. Просим покорно выкушать парочку с нами.

— Много доволен, Сидор Авдеевич. Все ли подобра-поздорову?

— Слава богу.

— И хозяйшка и детушки?

— Слава богу,

— Ну, слава тебе господи. В Рыбну, что ли, изволите?

— В Рыбну. Да присядь-ка, Потапыч.

— Не извольте беспокоиться. И постоять можем.

— А чашечку?..

— Много доволен.

— Одну хоть чашечку.

— Благодарю покорно. Дома пил.

— Эй, брат, чашечку.

— Ей-богу, дома пил.

— Полно. Выпей-ка вприкусочку на здоровье.

— Не могу, право.

Седой протянул Потапычу чашечку, а Потапыч, поблагодарив, выпил чашечку духом, после чего поставил ее бережно на стол вверх дном на блюдечко и поблагодарил снова.

— Ну вот этак-то ладно. Спасибо, Потапыч. Ну-тка, еще чашечку.

— Нет уж, ей-ей, не вмоготу. Много доволен за ласку и угощение. Чувствительно благодарен. Да я-с, Сидор Авдеевич, к вашей милости с просьбой.

— Передать, что ли, по торговле в Рыбне?

— Так точно-с. Трифону Лукичу. Покорнейше просим.

— Много, что ли?

— Тысяч с пяток.

— Пожалуй, брат.

Тут Потапыч вынул из-за пазухи до невероятия грязный лоскуток бумаги, в котором завернуты были деньги, и, поклонившись почтительно, подал их седому.

Седой развернул испачканный сверток, внимательно пересчитал ассигнации и золотые и потом сказал:

— Пять тысяч двести семнадцать рублей с полтиною.

Так ли?

— Так точно.

— Хорошо, брат. Будет доставлено.

Седой поднял полу своего армяка, всунул довольно небрежно сверток в боковой карман своих шаровар и занялся посторонним разговором.

— Каково торгуется, Потапыч?

— Помаленьку-с. К чему бога гневить?

— Ты ведь, помнится, салом промышляешь?

— Чем попало-с. И сало и поташ продаем. Дело наше маленькое. Капитал небольшой, да и весь-то в обороте.

А впрочем, жаловаться не можем.

— Ну-ка, Потапыч, теперь еще чашечку.

— Нет-с, уж право. Средства нет. Чувствительно доволен. Никак не могу.

Несмотря на упорное отнекивание, Потапыч снова выпил чашечку вприкусочку, потом, поблагодарив снова, почтительно раскланялся с седым, черным и рыжим, каждому поочередно пожелал телесного здравия, хорошего пути, всякого благополучия и, наконец, исчез в дверях.

Вся эта сцена возбудила в сильной степени любопытство Ивана Васильевича.

— Позвольте спросить, — сказал он, присосеживаясь к купцам. — Он вам родственник, верно?

— Кто-с?

— Да вот этот, что сейчас вышел. Потапыч.

— Никак нет-с. Я его, признательно-то сказать, почти что и не знаю вовсе. Он должен быть мещанин здешний.

— Так вы дела с ним ведете по переписке?

Седой улыбнулся.

— Да он, чаю, и грамоте не знает. А делов у меня с ним не бывает. Обороты наши будут-с поважнее ихних, — прибавил седой с лукавым самодовольствием.

— Так отчего же он не посылает своих денег по почте?

— Да иззестно-с, чтоб не платить за пересылку.

— А как же он не потребовал от вас расписки?

Черный и рыжий засмеялись, а седой взбесился не на шутку.

— Расписку! — закричал он. — Расписку. Да если б он от меня потребовал расписку, я бы ему его же деньгами рожу раскроил. Слава богу, никак уж пятый десяток торгую, а энтакого еще со мной срама не бывало.

— Извольте видеть-с, милостивый государь, не имею удовольствия знать, как вас чествовать, — сказал рыжий, — ведь-с это только между дворянами такая заведенция, что расписки да векселя. У нас, в торговом деле, такой-с, этак-с сказать, политики не употребляется вовсе.

Одного слова достаточно. Канцеляриями-то, извольте видеть, заниматься некогда. Оно хорошо для господ служащих, а нашему брату несподручно приходится. Вот-с, пригаером будь сказано, — продолжал он, указывая на седого, — они торгуют, может статья, на мильон рублей серебром в год, а весь расчет на каких-нибудь лоскутках, да и то так только, для памяти.

— Да это непонятно, — прервал Иван Васильевич.

— Где ж вам и понять? Дело коммерческое, без плана и фасада. Мы с детства попривыкаем. Сперва, извольте видеть, в приказчиках, либо в сидельцах даже, а уж после и сами-с вступаем в капитал. Тут уже, признательно сказать, дремать некогда. Фабрику завел — седи на фабрике. Лавку открыл — не пропускаяй хорошого покупателя.

Дело коли на стороне есть выгодное, запрягай кибитку, не жалея костей, никому не вверяйся. Сам лучше увидишь, по простому своему разуму. Признательно сказать, работа нелегкая. Сам у себя батрак. Да и притом еще частехонько изъян терпишь. Ну, а не ровен час, иногда и благословит господь, и дрянной товар пойдет втридорога. А уж, признательно-то сказать, об прихотях да турусах думать и не приходится. Вот-с, примером буде сказано, кафтан-то, что на мне, никак уж одиннадцатый год сшит, а в кафтане-то тысяч сотня с хвостиком; да вот у них не меньше будет, а вот-с у них так и побольше.

— И вы не боитесь, чтоб вас ограбили? — с удивлением спросил Иван Васильевич.

— Ничего, батюшка. Бог милостив. Кибитка у нас, извольте видеть, дрянная. Да и народ здесь, слава богу, не такой азартный. Ну, бечевку, постромку какую-нибудь и украдет, пожалуй, а разве уж злодей какой-нибудь посягнет на такие деньги. Вот-с мы никак пятнадцатый год по этой дороге ездим. Слава богу. Ни от кого обиды не видали.

— Знаете-с, — подхватил седой, — вот-с когда плохо: когда наш брат зазнается, да в знать полезет, да начнет стыдиться своего звания, да бороду обреет, да по-немецкому начнет копышаться. Дочерей выдаст за князей, сыновей запишет в дворяне. Тогда купец он не купец, барин не барин. Одет, кажется, знатным человеком, а все отдает сивухой. Тогда и делишки порасстроятся и распутство начнется, гульба, пьянство... Бога не станет бояться. А уж там и кредит лопнет, и не только без расписки, да и по векселю гроша ему никто между нами не поверит. Коли нет души, на чем хочешь пиши. Ей-богу, так-с.

Иван Васильевич призадумался несколько минут. Занимаясь за границей судьбами России, он, разумеется, не забыл торговли, этого важного двигателя народного благоденствия.

Только, за неимением сведений, он составил себе о русском торговом направлении какое-то утопическое понятие, не совсем сходное с действительностью, не совсемсообразное с возможностью. И тут, как всегда, в порыве беспокойного воображения он иногда приближался к истине, иногда увлекался чересчур за истину, а иногда от незнания и необдуманности давал решительные промахи.

Обо всех предметах объяснялся он сгоряча, но поверхностно, потому что не имел терпения ничего изучить глубоко.

— Позвольте, — сказал он с обыкновенною горячностью, — вымолвить несколько слов. Мне кажется, что у нас в России много людей покупающих и продающих, но что настоящей систематической торговли у нас нет. Для торговли нужна наука, нужно стечение образованных людей, строгие математические расчеты, а не одно удалое авось.

Вы наживаете миллионы, потому что обращаете потребителя в жертву, против которого все обманы позволительны, и потом откладываете копейку к копейке, отказывая себе не только в удовольствиях, но даже в удобствах жизни.

У вас только одна выгода настоящей минуты в глазах, и притом каждый думает только о себе отдельно, опасаясь товарищей и не заботясь об общей пользе. Вы только одно имеете в виду, как бы купить подешевле и продать подороже. В частной жизни вы пяти копеек не возьмете у незнакомого, а в торговом деле вы немилосердно обкрадываете родного брата. Честность у вас раздваивается гя два понятия: в первом обман у вас называется обманом, во втором — барышом. Таким образом, торговля делается нередко грабительством, а не разменом. Масса потребителей страдает от того, и, следовательно, целый край беднеет в пользу корыстолюбивых, незаконных взяток.

— Помилуйте! — воскликнул рыжий. — Мы не приказные, примером сказать.

— Хуже. Их взятки добровольные, а ваши насильственные. Еще вы хвастаете, что обогащаетесь своим трудом, своими боками, в сксерпых кибитках, в дырявых кафтанах.

Да ведь при вашем состоянии эта крайность не лучше крайности тех из ваших собратий, которые гуляют с цыганами или, чего доброго, получив класс, воображают себя дворянами. Вы хвастаете невежеством, потому что смешиваете разврат с просвещением. Вы гнушаетесь просвещения, потому что видите его в кургузом платье, в немецких мебелиях и бронзах, в шампанском, которое попивают ваши сынки, словом, в глупой наружности, в жалких привычках. Поверьте, это не просвещение, не образование.

Просвещение не обреет вам бороды, не переменит вашего кафтана. Ему дела нет до того. Просвещение покажет вам, что обман, как бы он ни был выгоден, все-таки обман, оно наставит вас в науках, для вас необходимых, даст вам познание мест и местных требований, опытность в исчислениях, в мореплавании, в оборотах, основанных не на мирном разбое, а на верных условленных расчетах, приносящих всем пользу. Просвещение приведет в твердые правила то прекрасное чувство доверия, которое и без того между вами господствует в частной жизни. Тогда вы не будете прятаться друг от друга, как теперь в своих делах, а, напротив, плотно свяжетесь между собой, и посредством совместного обращения ваших капиталов вы не только обогатитесь сами, по и возвеличите свое отечество. Большие выгоды добываются только большими средствами, совокуплением сил, а сколько у нас неисчислимых источников богатства, которые остаются неприкосновенными от недостатка двигателей. Призвание русского купечества, призвание ваше раскопать руды народного богатства, разлить жизнь и силу по всем жилам государства, заботиться о вещественном благоденствии края так, как дворянство должно заботиться о его нравственном усовершенствовании.

Соедините ваши усилия в прекрасном деле и не сомневайтесь в успехе. Что Россия хуже

Англии, «а у английского купечества сотни миллионов людей во владении, не говоря о сокровищах. Поймите только свое призвание, осветитесь лучом просвещения, и неоспоримая ваша любовь к отчизне доведет вас до духа единства и общности, и тогда, поверьте мне, не только вся Россия — весь мир будет в ваших руках.

При этом красноречивом заключении рыжий и черный вытаращили глаза. Ни тот, ни другой не понимали, разумеется, ни слова.

Седой, казалось, о чем-то размышлял.

— Вы, может быть, — отвечал он после долгого молчания, — кое-что, признательно сказать, и справедливое тут говорите, хошь и больно грозное. Да извольте видеть, люди-то мы неграмотные. Делов всех рассудить не в состоянии. Как раз подвернутся французы да аферисты, заведут компании, а там, глядишь, — и поклонился капиталу. Чего доброго в несостоятельные попадешь. Нет уж, батюшка, по-старому-то оно не так складно, да ладно.

Наш порядок с исстари так ведется. Отцы наши так делали и не промотались, слава богу, и капитал нам оставили. Да вот-с и мы потрудились на своем веку и тоже, слава богу, не промотали отцовского благословения, да и детей своих наделили. А дети пушай делают как знают.

Ихняя будет воля... Да не прикажете ли, сударь, чашечку?..

— Нет, спасибо.

— Одну хоть чашечку.

— Право, не могу.

— Со сливочками!..

Глава XV

НЕЧТО О ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧЕ

Давно пора, кажется, познакомить поближе читателя с героями тарантаса. Читатель вообще человек любопытный, охотник до анекдотов. Он ни во что не ставит мысль, породившую рассказ, чувство, его одушевляющее. Он ищет в книге не поучений, а новых знакомых, новых лиц, похожих на того барина или на ту барыню, с которыми он ведет шляпочное знакомство. Кроме того, читатель любит пламенные описания, хитрую завязку, наказанный порок, торжествующую любовь, словом, сильные впечатления. Читатель вообще в этом немного похож на Ивана Васильевича.

Сочинитель сего замечательного странствования, греха таить нечего, думал было угодить своему балованному судие, рассказав ему какую-нибудь пеструю небывальщину. К несчастью, это было невозможно. Скучная правда решительно воспротивилась жгучим страстям Василия Ивановича и перепутанным похождениям Ивана Васильевича по казанской дороге. Сочинителю остается только сделать одно в угоду читателю: представить ему с должным почтением две мелкие, но, по возможности, подробные биографии двух главных лиц сего рассказа.

Начинается с Василия Ивановича.

Василий Иванович родился в Казанской губернии, в деревне Мордасах, в которой родился и жил его отец, в которой и ему было суждено и жить и умереть. Родился он в восьмидесятых годах и мирно развился под сенью отеческого крова. Ребенку было привольно расти. Бегал он весело по господскому двору, погоняя кнутиком трех мальчишек, изображающих тройку лошадей, и постегивая весьма порядочно пристяжных, когда они недостаточно закидывали головы на сторону. Любил он также тешить вечный свой досуг чурком, бабками, свайкой и городками, но главное основание системы его воспитания заключалось в голубятне. Василий Иванович провел лучшие минуты своего детства на голубятне, сманивал и ловил крестьянских чистых голубей и приобретал весьма обширные сведения касательно козырных и турманов.

Отец Василия Ивановича, Иван Федотович, имел как-то несчастье испортить себе в молодости желудок. Так как поблизости доктора не обреталось, то какой-то сосед присоветовал ему прибегнуть для поправления здоровья к постоянному употреблению травничка. Иван Федотович до того пристрастился к своему способу лечения, до того усиливал приемы, что скоро приобрел в околоте весьма недиковинную славу человека, пьющего запоем. Со временем барский запой сделался постоянным, так что каждый день утром, аккуратно в десять часов, Иван Федотович с хозяйской точностью был уж немножко подшефе, а в одиннадцать совершенно пьян. А как пьяному человеку скучно одному, то Иван Федотович окружил себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги.

Торговал он, правда, себе и карлу, но карла пришелся слишком дорого и был тогда же отправлен в Петербург к какому-то вельможе. Надлежало, следовательно, довольствоваться взрослыми глупцами и уродами, которых одевали в затрапезные платья с красными фигурами и заплатами на спине, с рогами, хвостами и прочими смешными украшениями. Иногда морили их голодом для смеха, били по носу и по щекам, травили собаками, кидали в воду и вообще употребляли на всевозможные забавы.

В таких удовольствиях проходил целый день, а когда Иван Федотович ложился почитать, пьяная старуха должна была рассказывать ему сказки, оборванные казачки щекотали ему легонько пятки и обгоняли кругом его мух. Дураки должны были ссориться в уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучер вдруг прогонял дремоту и оживлял их беседу звонким прикосновением арапника.

Мать Василия Ивановича, Арина Аникимовна, имела тоже свою дуру, но уж больше для приличия и, так сказать, для штата. Она была женщина серьезная и скупая, не любила заниматься пустяками. Она сама смотрела за работами, знала кого выдрать и кому водки поднести, присутствовала при молотье, свидетельствовала на мельнице закормы, надсматривала ткацкую, мужчин приказывала наказывать при себе, а женщин иногда и сама трепала за косу. Само собой разумеется, что кругом ее образовалась целая куча разностепенной дворни, приживалок, наушниц, кумушек, нянек, девок, которые, как водится, целовали у Василия Ивановича ручку, кормили его тайком медом, поили бражкой и угождали ему всячески, в ожидании будущих благ.

Василий Иванович был и без того пухлый ребенок, редко вымытый, никогда не чесанный, жадный, своевольный, без присмотра и наблюдения. Он рос себе по одним простым законам природы, как растет капуста или горох. Никто не заботился о его нравственном направлении, о его умственном и душевном развитии. Никто не объяснял ему прекрасных символов веры, никто не говорил ему, что одного наружного благочестия недостаточно и что каждый человек должен созидать невидимый храм в душе своей, должен прославлять всевышнего не одними словами, а чувствами и жизнью.

На одиннадцатом году Василий Иванович начал курс своего ученья под руководством приходского дьячка и складывал с большим отвращением года два сряду всякому памятные буки аз-ба, веди аз-ва. После чего он начал и писать, но о каллиграфии, и правописании не

было упомянуто вовсе, так что и поныне Василий Иванович такие иногда мудреные чертит кавыки, такие иногда под пером его рождаются дикие слова, что глазам не верится. Потом учили его катехизису по вопросам и ответам и арифметике по тому же способу. Но тут все усилия остались, кажется, тщетны, потому что наука ему решительно не далась. Впрочем, к совершенному оправданию его родителей надо сказать, что они взяли для воспитания сына и домашнего учителя. Оный учитель был малороссиянин, кажется отставной унтер-офицер, именем Вухтич. Получал он жалования шестьдесят рублей в год, да отсыпной муки по два пуда в месяц, да изношенное платье с барского плеча и нечто из обуви. Кроме того, так как платья было немного, потому что Иван Федотович вечно ходил в халате, то Вухтичу было еще предоставлено в утешение держать свою корову на господском корме. Василий Иванович мало оказывал почтения учителю, ездил верхом на его спине, дразнил его языком и нередко швырял ему книгой прямо в нос. Если же терпеливый Вухтич и выйдет, бывало, наконец, из терпения и схватится за линейку, Василий Иванович кувырком побежит жаловаться тятеньке, что учитель его такой, сякой, бьет-де его палкой и бранит дурными словами. Тятенька спяна раскричится на Вухтича: «Ах ты, седой этакий пес, я тебя кормлю и одеваю, а ты у меня в дому шуметь задумал. Вот я тебя... смотри, по шеям велю выпроводить. Не давать корове его сена...» А кумушки и приживалки окружают Василия Ивановича и начнут его утешать: «Ненаглядное ты наше красное солнышко, свет наша радость, барин вы наш, позвольте ручку поцеловать... Не слушайте, ягода, золотой вы наш, хохла поганого. Он мужик, наш брат... Где ему знать, как с знатными господами обиход иметь...»

«Что ж, в самом деле, — думал Вухтич, — не ходить же по миру...» Заключением всего этого было то, что Вухтич женился на дворовой девке, получил в награждение две десятины земли, и воспитание Василия Ивановича было окончено.

Однако же надо сказать правду, Василий Иванович имел от природы сердце доброе, нрав тихий и миролюбивый. Доказательством тому служит то, что даже и воспитание его не испортило. Я говорю «воспитание» за неимением слова, выражающего понятие, совершенно противоположное воспитанию. И странно, как подумаешь...

Почти все наши деды учились на медные деньги, воспитывались как-нибудь, наудачу, то есть не воспитывались вовсе, а росли себе по воле божией. И деды наши были, точно, люди неграмотные; редкий умел правильно подписывать свое имя, и, несмотря на то, они все почти были люди с твердыми правилами, с сильною волею и крепко хранили, не по логическому убеждению, а по какому-то странному внушению, любовь ко всем нашим отечественным постановлениям. Теперь старинная грубость исчезает, заменяясь духом колебания и сомнения. Жалкий успех, но, может быть, необходимый, чтоб надежнее и вернее дойти до истины.

Когда Василию Ивановичу наступил шестнадцатый год, он отправился в Казань на службу... Тогда недавно только образовались новые штаты по указу о губернских учреждениях. Василий Иванович служил несколько времени в канцелярии наместника, но, как еще поныне говорится в губерниях, для одной только *pour le proforme* [Для проформы, для вида (франц.)].

В самом деле, не оставаться же столбовому дворянину, хоть и безграмотному, недорослем. К военной службе Василий Иванович имел мало склонности, тогда как совершенная праздность вполне согласовалась с его способностями и привычками. В то же время вкусил он удовольствия светской жизни и стал удивительно отличаться на балах. Никто ловче его не прохаживался в матрадуре, монимаске, куранте или Даниле Купере. Иногда в небольшом кругу, отхватывая он, по просьбе дам, и казачка, что всегда сопровождалось громкими изъяснениями удовольствия. Подобный случай решил даже участь его навсегда.

Как-то, на именинах у прокурора, просили его пройти любимый обществом танец вместе с молодой дочерью отставного секунд-майора Крючкина. Девушка долго жеманилась, но, как

водится, по долгим убеждениям, согласилась. Скромно опустив очи, зардевшись как маков цвет, она так мило подбоченилась, так легко начала подпрыгивать и влево и вправо, что сердце Василия Ивановича вздрогнуло и ноги едва не отказались. Но вдруг он оправился и с таким неистовым вдохновением пустился вприсядку, такие начал выделять ногами штуки, что комната потряслась от рукоплесканий, и некоторые подгулявшие собеседники начали даже притопывать и припевать, улыбаясь друг перед другом.

Василий Иванович, задыхаясь, подошел к пристыженной от общего восторга красавице.

— Ах! — сказал он. — Лихо изволите...

Молодая девушка еще более зарделась.

— Помилуйте-с, — отвечала она шепотом.

Эти слова и этот вечер остались навсегда памяты и для Василия Ивановича и для Авдотьи Петровны.

Василий Иванович влюбился не на шутку. Влюбилась ли Авдотья Петровна неизвестно и, вероятно, останется вечной тайной. Впоследствии, когда, уже сделавшись счастливым супругом, и расспрашивал ее про то Василий Иванович, она только улыбалась, приговаривая: «Ну, перестань же, балагур ты этакий!..»

После памятного казачка все прелести супружеской жизни, все очарования Авдотьи Петровны неотлучно преследовали Василия Ивановича самыми заманчивыми картинками. В душу его вкралась нежная мысль и, наконец, до того им овладела, что «он превозмог страх и робость и отправился в Мордасы испросить родительское благословение. Однако же попытка ему не удалась. Отец отвечал ему коротко и ясно:

— Вишь, щенок, что затеял. Еще на губах молоко не обсохло, а уж о бабе думает. Послать сюда Матрешку.

Явилась Матрешка, босоногая, в затрапезном робронде, в газовом испачканном токе, с перьями и цветами.

С отвратительными улыбками начала она приседать и говорить разные исковерканные французские слова с примесью некоторых уж чересчур русских.

— Вот тебе невеста, — сказал Иван федотович. После чего выпил он стакан травничка и на длинных дрогах отправился в поле.

От матери Василий Иванович получил почти то же приветствие. Воля мужа была ей законом. Даром что пьяница, думала она, а все-таки муж. Так думали в старину.

Василий Иванович возвратился повеся нос в Казань.

Теперь читатель в полном праве ожидать сильного анекдота, несчастной любви, тайного брака, может быть похищения и какого-нибудь проклятия. К сожалению, ничего подобного не случилось. В старину дети раболепно повиновались родителям. Да к тому же Авдотья Петровна была девушка умница, по тогдашним понятиям, девушка воспитанная, рукодельница, то есть никуда не выходила, кроме в церковь, а сидела целый день с девками, плела кружева, низала бисером и слушала подблюдные песни.

О том уже и не упоминается, что секунд-майор Крючкин, с своей стороны преисправно бы отдубасил заслуженною тросточкой всякого незаконного покусителя на сердце и покой единственной дочери.

Положение Василия Ивановича было самое горемычное. Он не имел даже утешения сделаться пьяницей, не чувствуя наследственной склонности к горячим напиткам.

Нрава был он не буйного; он не роптал против судьбы, а грустил и смирялся в простоте душевной. Ходил он только частехонько ко всенощной, украдкой поглядывал на свою красавицу, вздыхал, пыхтел, разнеживался и возвращался домой. Одкако же ни одна порочная мысль не заронила в его непорочной душе, ни раза не подумал он даже о возможности послушаться родительского приказания или внушить предмету любви своей незаконное чувство.

Так протянулись мрачно три года. Новый случай вдруг переменял жизнь Василия Ивановича. Однажды получил он странное письмо церковного слога и почерка. Письмо было от сельского священника и уведомляло Василия Ивановича, что Иван Федотович при смерти болен. Василий Иванович в ту же минуту послал за лошадьми и поскакал в Мордасы. Жалкую перемену, печальную картину нашел он в отцовском жилище. Приживалки и кумушки ревели по разным комнатам. Дураки вдруг сделались разумными и сбросили уродливые наряды. Умиравший, жертва необузданной склонности, лежал уже на смертном одре и жалобно стонал и тихо каялся. Святая таинственность страшного предсмертного часа разбудила, наконец, голос совести и направляла душу к настоящей стезе, от которой невежество, тунейство, привычка и пример отклоняли грешника в течение целой его жизни.

«Вася, — говорил он, — Вася, во мне горит что-то... Мне душно, мне больно, Вася... Виноват я перед тобой! Прости меня, Вася, не проклинай моей памяти. Не воспитал я тебя так, как должен был богу и государю... Будут у тебя дети, Вася, — воспитывай их в страхе божем, обучай наукам, служить заставь... Тяжкий мой грех... Не позволяй, Вася, детям ругаться над людьми бедными и слабыми, не обращай братьев твоих в позорище, не тани из них крови христианской... Все припомнится в последнюю минуту. Верь мне, Вася. Тяжело умирать с нечистой совестью. Душно мне, Вася... Вася, Вася, прости меня...»

И Вася, стоя на коленях, тихо рыдал у изголовья умирающего, и священник творил молитву над ложем страдания, среди оцепеневшей дворни. Долго продолжалась борьба жизни с смертью. Долго мучился и томился больной. Наконец, он умер. Дом наполнился криком и стенанием. Все селение провожало покойника до последней его обители. Приживалки и кумушки вопили страшными голосами, приговаривая затверженные речи: «Батюшка, кормилец, Иван ты наш Федотыч, на кого ты нас покинул!.. Как будет нам жить без тебя!.. Кто будет поить, кормить нас, круглых сирот, кто хлеб доставать! Век нам над тобой плакаться, век не утешиться... Пропала наша головушка!..» Все это сопровождалось визгом и притворным, весьма отвратительным испуганием. Но при последнем прощанье на многих лицах изобразилось истинное горе. Любовь мужика к барину, любовь врожденная и почти неизъяснимая, пробудилась во всей силе. По многим крестьянским бородам покатались крупные слезы, и, по едва понятному чувству великодушного самоотвержения, даже бедные дураки, вечно осмеянные, вечно мучимые покойником, неутешно плакали над свежей его могилой.

Прошел год грустного траура. Во все время освященного обычаем срока Василий Иванович, сделавшись полным хозяином имения, ни раза не посмел и подумать о милых сердцу замыслах. Но год прошел. Прошло еще несколько месяцев. Василий Иванович, несмотря на душевную скуку, становился удивительно толст. «Пора бы тебе, батюшка Василий Иванович, — говаривали ему нередко старые мужики, — и хозяйшккой обзавестись. Полно тебе бобылем-то маяться».

— Что же, Васенька, в самом деле, — сказала однажды Арина Аникимовна, я стара становлюсь. А что за хозяйство без хозяйки!

Василий Иванович только того и ожидал. Выкатили из сарая тарантас, помолились,

позавтракали, да и отправились в Казань. Авдотья Петровна все еще была в девушках, даром что в женихах не было недостатка. По приезде в Казань сейчас же послали за свахой. Явилась болтливая сваха с повязанным на голове платком. Несколько дней сряду таскалась сваха из дома Василия Ивановича к дому Авдотьи Петровны и обратно, носила с собой рядную, то есть подробные списки о приданом образами, натурой, деньгами, тряпками и т. д. Арина Аникимовна на все делала собственноручные замечания, чего мало, чего не надо и чего достаточно. Наконец, был назначен день для свидания молодых людей. При этом памятном свидании Василий Иванович и Авдотья Петровна поочередно краснели и бледнели, не говоря ни слова. Зато сваха неумолчно и премило шутила, злодейски запуская разные намеки и обиняки насчет пристыженной четы. Секунд-майор смеялся от души и весьма развязно разговаривал с Ариной Аникимовной о цене хлеба, об ожидаемом умолоте, о враждебном озими червячке и о прочих принадлежностях сельской политики. Спустя несколько дней молодых людей благословили, отслужили в соборе молебен и начали готовиться к свадьбе. В старые годы приготовления к свадьбе не сопровождалось, как нынче, совершенным разорением. Не заказывали сверкающих карет, в которых ездить не придется, не выписывали шляпок из Парижа, а давали чистые деньги, деревни не заложенные. Накануне дня, назначенного для брака, притащился к дому Василия Ивановича огромный рыдван, из которого вынесли сперва божьего милосердия несколько образов в окладах, потом начали таскать розовые перины, подушки, сундуки с бельем, издавна уж к свадьбе заготовленным, самовар, серебро и несколько платьев с прегадкими кружевами. Оные кружева плела себе несколько лет сряду с девушками сама Авдотья Петровна на приданое, и, верно, не раз задумывалась она над работой, неволью одолеваемая сладким страхом при мысли о своей туманной девичьей судьбе. Арина Аникимовна все пересчитала и приняла собственноручно, потом подписала рядную и подарила свахе московской шелковой, довольно легонькой, материи на платье. Свадьбу праздновали со всевозможной пышностью. Обряд совершал соборный протоиерей. Посаженым отцом у молодой был сам наместник.

В целом городе только и было речей что о пышном ужине, который задал на славу Василий Иванович. Выпито было семь бутылок шампанского и военная музыка играла за столом. Недели через две после торжественного дня Василий Иванович, поблагодарив всех и каждого, раскланявшись и распростившись с целым городом, посадил молодую свою супругу в новый тарантас и отправился в деревню.

На границе поместья все мужики, стоя на коленях, ожидали молодых с хлебом, и солью. Русские крестьяне не кричат виватов, не выходят из себя от восторга, но тихо и трогательно выражают свою преданность; и жалок тот, кто видит в них только лукавых, бессловесных рабов и не верует в их искренность. Как бы то ни было, с того времени как Василий Иванович женился, каждый его мужик радовался, как будто бы женился сам. «Вот и хозяйка у нас, — говорили они. — Вот не одни мы, слава богу! Много им лет здравствовать». И старый и малый отправились бегом в церковь, чтобы выслушать молебен, чтоб рассмотреть хорошенько молодую. Старый священник со слезами на глазах вынес из алтаря крест, к которому приложились новобрачные. На всех устах шевелилась молитва, на всех лицах сияла радость, радость неподдельная. И все это было просто, без приготовления, без громких изъявлений, без глупых речей. Василий Иванович ввел свою хозяйку в серенький помещичий домик. Арина Аникимовна благословила их образом у порога, и Василий Иванович зажил новой жизнью.

И надо ему отдать справедливость. Он хотя не уничтожил вовсе существовавший при отце порядок, но по крайней мере изменил его во многом: шутов отослал в столярную, кучера посадил на козлы, а сам выпивал не более двух рюмок травничка в день, одну перед обедом, другую перед ужином. Не следует, однако, думать, чтоб он вооружался правилами грозной нравственности и барабанил громкими словами. Совсем нет. То, что занимало и тешило лвана Федотовича, не казалось ему отвратительным, а только не занимало и не тешило его вовсе. Он понимал, что можно быть пьяницей, только сам напиваться не любил. Он понимал,

что можно забавляться дураками, только сам не находил в них ничего смешного. Словом, он сделался добрым человеком не по убеждению, а так себе, потому что иначе было бы ему как-то неловко и неприятно. С одной стороны, он помнил живо последнее, страшное, поучение умирающего отца, а с другой стороны, просвещение, которое незаметным образом распространяется повсюду, заглядывая в села и деревни, не миновало Мордас и стало исподволь подкрадываться к Василию Ивановичу, заговаривая с ним не европейскими пустыми изречениями, а понятным ему языком. Таким образом, понял он, что собственное его благосостояние зависит от благосостояния его крестьян, и тогда занялся он всеми силами добрым делом, и без того милым его мягкосердому свойству. Он начал, правда, управлять по русской методе, по опыту старожилов, без агрономических фокусов, без филантропических усовершенствований, но помещик понимал мужика, мужик понимал помещика, и оба стремились, без насильственных толчков, а правильно и постепенно, к цели усовершенствования. Василий Иванович был человеколюбив и правосуден. Крестьяне стали обожать его уже не по долгу, им привычному, но из святой благодарности. У Василия Ивановича родились дети. Он начал их воспитывать не хитро, но уж не так, как сам был воспитан. Для них выписан был студент из семинарии, который обучал их и истории, и географии, и многому, о чем Василий Иванович и понятия не имел. Старший сын по наступлении одиннадцати лет был отправлен сперва в губернскую гимназию, а потом в Московский университет. Василий Иванович понимал, сам не зная почему, что в хорошем воспитании таится не только нравственный зародыш жизни каждого человека, но и тайное начало благоденствия и жизни всякого государства.

Со всем тем Василий Иванович был из числа самых прозаических помещиков. Старые соседи говорили о нем, что он продувная шельма, а молодые, что он пошлый дурак. В самом же деле он просто и поныне, что называется, человек старого покроя. На дворянских сходбищах, куда он является только в необыкновенные случаи, говорит он весьма не остроумно, но говорит дельно, согласно понятию большинства. Предлагали ему служить по выборам, но он отклонил подобное предложение, во-первых, как говорил он, по поводу физики, чересчур неповоротливой, а во-вторых, потому, что в низших должностях боялся ответственности, а высших не почитал себя достойным. Живет он себе лет тридцать в деревне почти безотлучно, толстеет с каждым годом, чрезвычайно любит ездить на рыбную ловлю, где он может лежать на берегу, пока рыбаки забрасывают невод на его счастье или на счастье всех детей его поочередно. Кушает он удивительно много и охотно, и Авдотья Петровна каждый день придумывает ему какой-нибудь сюрприз: то кулебяку с вязигой, то окорок на славу, то рыбу огромной величины, на каковой случай ссылаются и несколько соседей. «Василий Иванович просит-де откусать рыбки, что поймал у него рыбак». И соседи восхищаются рыбкой, меряют ее, сравнивают с другими известными рыбами, и Василий Иванович улыбается л очень доволен и собой, и рыбкой, и жизнью. После обеда едят варенье общей ложечкой, выпивают иногда по рюмке наливочки, потом ложатся отдохнуть, потом ездят на длинных дрогах посмотреть на озими или на яровинку, потом снова ложатся спать уже на целую ночь.

В карты Василий Иванович не играет. Утром поверяет он работы, делает разводку, ездит на мельницу или на молотильню, но ходить пешком не любит и решается на такой подвиг только в чрезвычайных случаях, во время крестного хода, напшшео, или когда плотину прорвет.

Арина Аникимовна давно уже скончалась, в поздней старости. За несколько лет до смерти она ослепла и тихо сошла в могилу, где схоронили ее рядом с Иваном Федотовичем.

Авдотья Петровна давно уже сделалась толстой и довольно крикливой барыней. Впрочем, она любит и уважает Василия Ивановича, хотя не с прежнею безусловною покорностью. Она тоже имеет вес и голос в управлении и хозяйстве, и чтоб высказать всю истину, надо сознаться, что Василий Иванович ее немного даже побаивается.

Ей вполне предоставлены, для приятного рассеяния, все заботы о скотном дворе, птичнике и рукодельной промышленности дворовых женщин. Авдотья Петровна любит гадать в карты,

слушать сплетни дворовых старух и приобрела в околотке немалую славу особым искусством, с которым она солила огурцы, перекладывая их какими-то листьями.

Впрочем, ни она, ни мирный ее супруг ни одного раза в течение тридцатилетнего супружества не пожалели о своем выборе, ни одного раза супружеская их верность не нарушилась, и ни одна неприязненная мысль, ни одно ядовитое слово ни разу не коснулись их непоколебимого согласия.

Так текла, так течет бесстрастная, тихая жизнь толстого помещика. В продолжение тридцатилетнего пребывания в деревне два раза был он в Москве, раз пять в губернском городе да каждый год, около Иванова дня, отправляется он на ближнюю ярмарку.

Вот все, что можно было, в угоду читателя, почерпнуть из биографии Василия Ивановича.

Глава XVI

НЕЧТО ОБ ИВАНЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ

Тридцать лет после рождения Василия Ивановича в соседней деревне родился Иван Васильевич.

Мать Ивана Васильевича была московская княжна, княжна, впрочем, не древнего русского рода, а какого-то странного именованья и, как кажется, недавнего восточного происхождения. Как бы то ни было, она была княжна от ног до головы и процветала в Москве в ту блаженную эпоху, когда все молодые девушки, а в особенности княжны, узнали впервые на Руси всю прелесть французских романов, обычаев и мод. Читателю, вероятно, известно, что было время, когда наши дамы стыдились говорить по-русски и коверкали наш язык самым немилосердным образом, чего, не в укор будь им сказано, еще и поныне заметны некоторые следы. Тогда у нас франкомания владела всем нашим первостепенным дворянством, которое, следуя всегдашней тайной слабости, вздумало было тем отделиться от второстепенного. Но, по принятому правилу, второстепенное сейчас же последовало за первостепенным, чтоб попасть под тот же разряд, а за ними и прочие степени. Неизвестно, к какой собственно из этих последующих степеней принадлежала княжна, но так как никто не оспаривал ее сиятельности, то она и приписывала себя к высшему слою общества, а вследствие того носила до невероятия короткие талии, причесывалась по-гречески, читала Грандисона, аббата Прево, madame Riccoboni, madame Radcliff, madame Cottin, madame Souza, madame Stael, madame Genlis [Прево Антуан (1697-1763), Риккобони Мари (1714-1792), Суза Адель (1760-1836), де Сталь Луиза Жермека (1766-1813), Жанлис Фелисите (1746-1830) — французские писатели; Радклиф Анна (1764-1823) — английская писательница.] и объяснялась не иначе как на французском языке с нянькой Сидоровной и буфетчиком Карпом. Сидоровна плакала, что ребенка ее сглазили и испортили; буфетчик Карп отвечал на все: «слушаю-с!», а старая княгиня, утопая вместе с моськой в неподвижной дородности, твердила наизусть французский лексикон и радовалась, что бог наградил ее такою воспитанной княжнью. Впрочем, влияние на нас Франции в то время было весьма понятно. Наполеон потрясал с боку на бок всю Европу, и Россия, охотница до всякой удали, дивилась со стороны чудному человеку.

Но когда дело дошло до нас, все наши французы заговорили по-русски. Чувство народности, чувство народной любви к государю и отечеству, это основное, неискоренимое начало русской жизни, вдруг сбросило личину, и целый край поднялся без шума грозным исполином. Врага встретили с мечом и огнем, и пожар Москвы осветил настоящим светом русские чувства. В эту памятную годину всякий жертвовал чем мог: кто жизнью, кто детьми, кто

достоянием, и никому не пришло в голову просить себе за то возмездия или награды, чему мы видели потом столько примеров в прославленной нами Франции.

Княжна и княгиня отправились в Казань в огромном рыдване, уложив в него большую часть своей движимости. Все остальное сгорело в Москве вместе с домом.

Французов прогнали, но княгиня рассудила, что возвращаться ей на пепелище, заводить новый барский дом с штофными гостиными и загаженной передней — затруднительно и утомительно по случаю ее тучности и преклонных лет. Вследствие сего поселилась она в Казани, к великому неудовольствию княжны. Княжна важничала, брезгала провинциальным обществом и неуклюжими молодыми людьми. Разумеется, такой образ мыслей навлек на нее общее негодование; губернские остряки распустили на ее счет самые забавные анекдоты; барыни относились о ней крайне недоброжелательно, хотя и подражали раболепно ее нарядам. Княжна скучала и, что хуже, старилась. Оставаться старой девушкой, хоть и княжной, как ни притворяйся, никогда не покажется утешительным. Бросившиеся было к ней женихи, распознав, что у ней шесть или семь братьев и что приданое ее заключается во французском языке, вдруг почувствовали к ней отвращение и быстро скрылись врассыпную. Наконец, отыскался какой-то бессловесный помещик из числа колпаков, который, ослепленный княжеским сиянием, предложил княжне руку и деревню. Княжна приняла деревню, а по необходимости и руку вдобавок. Помещик не был похож, как представить можно, на Малек-Аделя или на Eugene de Rothelin [Евгений де Ротелен-герой одноименного романа Адель Суза], не был похож даже на лютого тирана, а скорей на сурка: ел, спал да рыскал целый день по полю.

От этого брака родился Иван Васильевич.

Разумеется, положено было воспитать его на славу, чтоб сын отнюдь не был олухом, как батюшка, и как только начал он подрастать, сейчас же принялись отыскивать французского гувернера. Всем известно, что французы долго мстили нам за свою неудачу, оставив за собою несметное количество фельдфебелей, фельдшеров, сапожников, которые, под предлогом воспитания, испортили на Руси едва ли не целое поколение. Эту жалкую саранчу не следует, однако, сравнивать с эмигрантами, которые все-таки были получше, необразованнее, хотя немногим и они отплатили за русское гостеприимство, укрывавшее их от ужасов французского возмущения.

К счастью Ивана Васильевича, наставник его, monsieur Lerpince, не был из числа самых площадных азбучных ремесленников. Он принадлежал к какой-то политической партии и, как рассказывал, был жертвою важных переворотов, лишивших его значительного состояния, не объясняя, впрочем, никому, что состояние это заключалось в табачной лавочке. Он был даже не совершенно без образования, но, разумеется, как француз, с образованием односторонним и хвастливым; он ничего не понимал и не признавал вне Франции, и все открытия, все усовершенствования, все успехи приписывал своевольно французам. Такой образ мыслей, разумеется, может быть весьма похвален для природного парижанина, но, кажется, вовсе не нужен для казанского уроженца. Кроме того, monsieur Lerpince был весьма любезен с дамами, писал довольно гладкие стишки с остротой или с мадригалом при конце, говорил про все то, чего не знал, весьма бегло и красиво, любил иногда с важностью замолвить глубокомысленное словечко о судьбах человечества и с гордой откровенностью беспрестанно твердил, что он сделался наставником только по необходимости, но что он вовсе не рожден для подобного назначения.

Мать Ивана Васильевича чрезвычайно радовалась такой прекрасной находке. Злые языки даже распускали в уезде на ее счет довольно не отрадные для супруга ее слухи. Впрочем, слухи эти были, может быть, не что иное, как клевета.

На тринадцатом году Иван Васильевич знал, что Расин первый поэт в мире, а Вольтер такая

тьма мудрости, что страшно подумать. Он знал, что был век, озаривший целый свет своей могучей литературой, — век Людовика XIV; что после этого века был еще другой век, век Людовика XV, немного послабее, но тоже изумительный. Иван Васильевич знал наперечет всех писак того времени. Надо отдать ему справедливость, что он нередко зевал, читая образцовые сочинения, но monsieur Lerginсе, подсмеиваясь над тупой его природой, предсказывал ему, что впоследствии он постигнет, может быть, недоступные ему красоты. Сверх того, Иван Васильевич обучался латинскому языку по ломондовской грамматике, хотя довольно неудачно; кое-что запомнил из «Всеобщей истории аббата Миллота», пел беранжеровские песни и описывал довольно правильно на французском языке восхождение солнца. О неизвестных же ему предметах monsieur Lerginсе относился весьма легко, давая чувствовать, что он их хотя и изучал донельзя, но что они не заслуживают никакого внимания.

Иван Васильевич был мальчик совершенно славянской природы, то есть ленивый, но бойкий. Воображением и сметливостью часто заменялись у него добросовестный труд и утомительное внимание. Ученик скоро истощил ученый запас учителя; но учитель, как истый француз, никак не понимал своего невежества и продолжал себе преподавать и растягивать всякий вздор под прикрытием громких названий. «Поймите сперва хорошенько Корнелия Непота [Корнелий Непот (ок. 100-25 до н. э.)-римский историк. Гораций (65-8 до н. э.) — римский поэт. Риторика — теория красноречия.], — говорил он своему питомцу, — а там мы примемся за Горация».

Но, к сожалению, monsieur Lerginсе сам Горация-то не понимал, отчего и Иван Васильевич остался на всю жизнь свою при Корнелии Непоте. Года два или три сидел Иван Васильевич на французском синтаксисе, изучая и забывая поочередно все своевольные обороты болтливости языка. Потом несколько лет сряду изучал он французскую риторику составлял разные фигуры, тропы, амплификации [Фигуры, тропы, амплификации — название различных стилистических приемов речи.], витиеватые обороты речей и т. п. «Узнайте сперва хорошенько риторику, — говорил monsieur Lerginсе, — а там дойдем мы и до философии». Но риторика длилась до бесконечности и по известным причинам до философии никогда не дошли. Еще забыл я сказать, что Иван Васильевич знал наизусть генеалогию всех французских королей, названия многих африканских и американских мысов и городов, терялся в дробях, как в омуте, и довольно нахально начал судить, по примеру наставника, о многих книгах и о всех науках, руководствуясь одними заглавиями. Мать Ивана Васильевича, урожденная княжна, утопала в восторге, когда сынок приносил ей в праздничный день поздравительное сочинение, наполненное риторическими тропами или, чего доброго, иногда и вколоченное в стихосложный размер. Monsieur Lerginсе, в уважение таких заслуг, был почти хозяином дома, приказывал и распоряжался во все стороны, держал своих лошадей, частехонько для рассеяния ходил на прядильную фабрику, толстел, наживался и, наконец, начал торговать из-под руки хлебом, после чего, набив карманы, раскланялся он на все четыре стороны и уехал во Францию рассказывать про нас веяние небылицы и печатать брошюры о тайнах русской политики и о личных достоинствах государственных людей.

Никто, однако, не рассудил, что Ивану Васильевичу не заседать в камере депутатов, не быть республиканцем или роялистом, не гулять век на Итальянском бульваре, а что суждено ему служить в министерстве юстиции или финансов; что божцею волею придется ему иметь во владении триста душ безграмотных крестьян, которые всю надежду свою будут полагать на него и о которых он, вероятно, ни разу не подумает, разумеется исключая те случаи, когда понадобится получать с них доход. Ивану Васильевичу все рассказали и объяснили, кроме того, что у него было под носом. Он видел господский дом довольно гадкий, избы довольно гнилые, церковь довольно ветхую; но никто не объяснил ему, как начались, как образовались, как дошли до настоящего положения этот дом, избы, эта церковь. Русская история, русская жизнь, русский закон остались для него каким-то варварским баснословием, и благодаря бестолковому направлению русский ребенок вырос французиком в степной деревне, в самом

русском захолустье. В уезде выставляли вздорного парня за настоящее чудо, и счастливая его мать в наслаждениях, доставляемых сыном, забывала даже скуку, доставляемую отцом.

Нельзя, впрочем, слишком строго укорять ее в слабости, почти общей всему нашему дворянскому сословию.

И теперь, когда в высшем нашем кругу среди стольких русских имен встречаешь так мало русских сердец и в особенности так мало русских умов, невольно подумаешь о полученном воспитании, и вместо гнева в душе рождается сожаление.

В одно печальное утро мать Ивана Васильевича скончалась, и сурок нашелся в самом затруднительном недоумении. Куда девать сына? Так как малому не исполнилось еще пятнадцати лет, то в службу отдавать его было еще рано, а выписывать нового француза — слишком поздно. По общему совещанию с соседями решили отправить Ивана Васильевича в какой-то частный петербургский пансион. Так и сделано. Пансион отличался удивительной чистотой и порядком. Полы были напощены воском, на лавках не замечалось ни одного чернильного пятна, а на лекциях преподавалось несметное множество различных наук. К несчастью, между учащимися невежество и нерадение не почитаются за порок; напротив того, в них полагается что-то молодецкое, доказывающее самостоятельность возмужалого возраста. Увлеченный ребяческим тщеславием, Иван Васильевич сделался совершенным молодцом, затягивался во всех уголках вакштафом до тошноты, пил водку, бегал по кондитерским, хвастал каким-то мнимым пьянством, занимался театральной хроникой, а на лекциях учил какие-нибудь грязные или вольнодумные стихи. Словом, в пансионе набрался он какого-то странного, непокорного духа, обижался званием школьника, учителей называл ослиами, ругался над всякою святыней и с лихорадочным удовольствием читал те мерзкие романы и поэмы, которых и назвать даже нельзя. Таким образом, сделался он дрянным повесой, смешным и гадким невеждой, и даже тот скудный запас мелких познаний, который сообщил ему monsieur Lerpince, исчез в тумане школьного молодечества.

Так погубил он самые лучшие, самые свежие годы жизни, когда душа еще так восприимчива, так горячо и ясно удерживает всякое впечатление. Наступила пора выпуска и экзамена. Экзамен заключался в тридцати или сорока предметах, не говоря об изящных искусствах и гимнастических упражнениях. Иван Васильевич относился, разумеется, весьма презрительно об ожидаемом испытании и, как говорится на пансионском языке, провалился с первого слова. Такой развязки и надо было ожидать.

Однако Ивану Васильевичу было невероятно досадно и даже немного стыдно и других и самого себя. Он был из числа тех людей, которые хотят все знать, не учась ничему. Ему невыносимо обидно было глядеть на двух или трех трудолюбивых молодых людей, над которыми весь класс всегда смеялся, которые никогда не были молодцами и которые вдруг сделались предметом невольного уважения не только наставников, но даже и самых буйных, самых отчаянных товарищей. Иван Васильевич опомнился и крепко призадумался. Не начать ли снова с азбуки? Не приняться ли, наконец, за дело? Он чувствовал, что одарен погштливностью и памятью; предметы ясно обрисовывались в его воображении, даже самые отвлеченные мысли при напряжении могли отчетливо вкореняться в его уме. Наконец, он даже по своей досаде почувствовал, что не рожден для бессмысленного разврата, а что в нем таится что-то живое, благородное, просящееся на свет, требующее деятельности, возвышающее душу. Если б он последовал внутреннему голосу, если б он принял сам себя перевоспитывать, то мог бы еще сделаться человеком полезным и во всяком случае замечательным по твердости и настойчивости. Но как начать учиться, когда некоторые товарищи уже титулярные советники и веселятся в большом свете? Давайте Ивану Васильевичу и службу и свет. Он определился в какое-то министерство и, горестно оплакивая свою школьную дурь, начал служить горячо и старательно. Недостаток в надлежащих для службы сведениях заменял он сметливостию и остроумием. Его употребляли в канцелярии и в откомандировках, он был усерден к службе, как будто желая загладить вину жалкого своего

затмения. В его усердии даже было слишком много рвения, потому что он не мог бы сохранить его постоянно в одинаковой силе. Многое делал он даже совершенно не нужное и лишнее, от него вовсе не требуемое. Словом, он чересчур завлекся службой, и через несколько времени служба ему надоела. Ему показалось, что его заслугам не отдают должной справедливости, что его не отличают достаточно, а обходят в представлениях, что ему следовало уже быть каким-нибудь важным лицом. Рвение заколебалось, и невежество, не прикрытое осторожностью, начало проглядывать. Трудлюбивые товарищи по пансиону, о которых уже было помянуто, в скором времени его обогнали, потому что и на службе, как в ученье, были они основательны и последовательны. Иван Васильевич начал было сердиться, но вскоре позабыл и гнев свой, потому что вдруг перестал думать о службе; и немудрено... он был влюблен.

Влюбился он по уши в какую-то барыню, которая отличалась томным взором и страстную речью. Сперва разменялись они неясными признаниями, потом разменялись колечками, наконец и взаимными клятвами любить вечно друг друга. Иван Васильевич несколько времени носился в бурном небе страстных мечтаний, но это, впрочем, не продолжалось долго. Страсть, его увлекающая, доходила сразу до последних границ, а от самой силы своей скоро обессилевала. Но вдруг он заметил, что красавица его томно заглядывается на какого-то гусара, и закипел ревностью. Мщение, злоба, кровь забунтовала в его голове.

К счастью, сама красавица предупредила все трагические последствия, вышед замуж за такого богатого уroda, что и сердиться на него было невозможно. Для развлечения Иван Васильевич с неистовством окунулся в светские удовольствия. Но в этих удовольствиях он не нашел даже и тени того, чего искал. Скука, бездействие, обманутое самолюбие, какая-то свинцовая усталость давили его грудь.

Он начал проклинать бесцветность петербургской жизни, не понимая, что эту бесцветность носит в себе. Иногда, пламенными урывками, увлекался он в отрадный мир поэзии, читал и Данте, и Шиллера, и Байрона, и Шекспира и сильной рукой отдергивал завесу, отделявшую его от прекрасного мира, так долго скрытого его очам. Иногда углублялся он в какую-нибудь заманчивую для него науку, но все это было случайно, нетвердо, лихорадочно. Открытая книга падала со стола, исписанный лист не перевертывался. И теперь, как прежде, он принимался за все сгоряча, но горячность скоро проходила; он утомлялся и искал минутного рассеяния, глупой забавы. Он понял тогда, что образование не заключается в словах и числах, не в множестве и подробностях ученых предметов, а в способности заниматься полезно, в строгой критике жизни, в строгом и терпеливом исполнении всякого начатого дела. Он сделался истинно жалким человеком не оттого, чтоб положение его было несчастливое, но оттого, что он ни в чем не мог принимать долго участия, оттого, что он сам собою был недоволен, оттого, что он устал сам от самого себя. Тогда начал он догадываться, что есть какое-то высокое, прекрасное назначение в науке, которая подавляет ко дну души сомнение, безверие, страсти, томящие борения, неизбежные с человеческой природой. Без благодетельной науки все эти враждебные начала выплывают на душевную поверхность, и жгут, и бунтуют, и губят беззащитную жизнь.

В таком безотрадном положении Иван Васильевич утешался, однакоже, отрадною надеждою отправиться за границу, возражая, что в чужих краях он легко приобретет познания, которые не сумел приобрести в отечестве. Вообще слова «за границу» имеет между нашей молодежью какое-то сданное значение. Оно точно как бы является ключом всех житейских благ. Больной спешит за границу, воображая, что у прусской заставы вдруг делается здоровым. Живописец просится за границу, в ожидании, что как он только влезет на Monte Pincio, так и будет Рафаэлем. Невежда, проленившийся целый век дома и пристыженный, наконец, своим незнанием, берет место в дилижансе и думает, что потерянное время, вечная праздность, умственные потемки больше ничего не значат: он едет за границу.

Иван Васильевич отправился в Берлин с рекомендательными письмами ко всем

знаменитостям Берлинского университета. Первое его впечатление за границей было самое неудовлетворительное, хотя он сам не мог отдать себе отчета в том, чего ожидал. Люди как люди. Дома как дома. Улицы как улицы. И к тому же люди поскучнее наших, дома похуже наших, улицы поуже наших. Знаменитости, пред которыми он готовился благоговеть, произвели на него почти то же самое впечатление, как кассир его министерства или излеровский маркер. У одной знаменитости был нос толстый. У другой бородавка на щеке. Иван Васильевич побежал на лекции, но тут заметил он с прискорбием, что в нем нет тех первоначальных сведений, без которых все последующие не имеют опоры. К тому же он плохо знал по-немецки и хотя и толковал о Гегеле и Шеллинге, но не понимал их вовсе и убедился, бедный, что ему или начинать с гимназии, или век простоять перед кафедрой, как оглашенный у двери храма. В Германии объяснилась ему тайна воспитания. Он видел, как здесь каждый человек, от мужика до принца, вращается в своем круге терпеливо и систематически, не заносясь слишком высоко, не падая слишком низко. Он видел, как каждый человек выбирает себе в жизни дорогу и идет себе постоянно по этой дороге, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу из вида своей цели. О, как проклял он тогда своего француза-наставника, который именно цели-то и не дал его бытию. Он чувствовал, что в духовной жизни его не было связи, что он был не что иное, как от всего отчужденный ребенок, который для пустой игрушки вдруг переходит от равнодушия к восторгу, от восторга к отчаянию. Ему показалось, что он отвержен мыслящей и действующей семьей человечества, что вечно суждено ему блуждать одному, забытому, осмеянному, в туманном непроницаемом мраке. Чтоб утешиться хоть немного, начал он колко смеяться над немцами, над скучной и порядливой их жизнью, над вечными вязаньями их жен, над их пивом, клубами и обществами стрелков. Но недолго, впрочем, жил он с немцами и отправился в Париж. Париж тем хорош, что рассеет какую угодно хандру. Иван Васильевич вполне увлекся этой вечно бегущей толпой, которая постоянно спешит за чем-то и куда-то, никогда ничего не достигая. Он видел перед собой собственную историю в огромном размере: вечный шум, вечную борьбу, вечное движение, звонкие речи, громкие возгласы, безмерное хвастовство, желание выказаться и стать перед другими, а на дне этой кипящей жизни тяжелую скуку и холодный эгоизм.

Долго шатался Иван Васильевич по всем представлениям парижских игрищ, начиная с обеих камер [Речь идет о палатах французского парламента.]. Однако он не полюбил Парижа. Он был еще слишком молод. Вопреки судьбе, душа его просила чего-нибудь повыше, поотраднее, и поездка в Италию осталась, может быть, самой светлой точкой, самым лучшим воспоминанием его жизни.

Тогда развилось в нем дотоле неизвестное ему чувство изящного. И не одна поэтическая чувственность искусства, как очаровательная красавица, обнажила перед ним все свои красоты. В Италии искусство имеет какую-то чудную, духовную сторону, которую нельзя выразить, но которая проникает все бытие. В Италии, в одной Италии можно стоять целые часы перед зданием, перед изваянием, перед картиной. Душа оживляется безжизненным предметом и как будто роднится с ним, как будто входит с ним в какое-то таинственное духовное сношение. Только в Риме Иван Васильевич был совершенно спокоен духом. Ему бы совестно было и подумать о такой ничтожной пылинке перед колоссальным памятником, воздвигнутым гениями искусства над трупом человеческого честолюбия. В первое время Иван Васильевич даже на улицах говорил вполголоса, как бы перед покойником. Да и кто может хладнокровно глядеть на Аполлона, на Колизей или на площадь св. Петра, кто может не задумавшись взглянуть на странную связь язычества с христианством, веры с искусством. В Италии каждая церковь — роскошная галерея, и лучшие произведения гениальных художников смиренно теснятся у алтарей.

Чудная, незабвенная Италия, пускай говорят, что ты упала, что ты погибла, что ты схоронена. Не верь коварным словам. Ты все еще живешь прежней жизнью, дышишь прежним огнем. Ты все-таки царица мира, и народы стекаются к тебе на поклон. И столько у тебя сокровищ,

природа и люди, порожденные под твоим небом, одарили тебя так щедро, что ты одной твоей милостиной обогатила всю Европу. Процветай же, Италия, не так уже, как резвая, полная молодости красавица, но как пышная вдовица, которая вблизи видела и суетность жизни и смерть и с горькой улыбкой смотрит на людей, не требуя ничего от настоящего, а свято углубляясь в одном постоянном воспоминании минувшего благополучия.

Между тем Иван Васильевич замечал, что куда бы он ни показывался, в какую землю бы он ни приезжал, — на него смотрят с каким-то недоброжелательным, завистливым вниманием. Сперва приписывал он это личным своим достоинствам, но потом догадался, что Россия занимает невольно все умы и что на него так странно смотрят единственно потому, что он русский. Иногда за табльдотом [Табльдот (от франц. table d'hote) — общий обеденный стол в гостиницах и ресторанах.] делали ему самые ребяческие вопросы: скоро ли Россия завладеет всем светом? правда ли, что в будущем году Цареград назначен русской столицей? Все газеты, которые попадались ему в руки, были наполнены соображениями о русской политике. В Германии панславизм занимал все умы. Каждый день выходили из печати глупейшие насчет России брошюры и книги, написанные с какой-то лакейской досадой и ровно ничего не доказывающие, кроме бездарности писателей и опасений Европы. Мало-помалу заграничная жизнь заставила Ивана Васильевича невольно задуматься о своей родине. Думая об ней, он начал ею гордиться, а потом начал ее и любить. Словом, то, что на родине не было внушено ему при воспитании, мало-помалу вкралось в его душу на чужбине. Он начал припоминать все виденное и не замеченное им в деревне, в поездках по губерниям, во время откомандировок по службе. Он хотя и чувствовал, что все эти данные не составляют общего мнения, общего целого, но некоторые черты удержал он довольно верно, а остальные дополнил своим воображением. Так составил он себе особые понятия о чиновниках, о русской торговле, о нашем образовании, о нашей словесности. Тогда решился он изучить родину основательно, и так как он принимался за все с восторгом, то и отчизнолюбие в нем загорелось бурным пламенем. К тому же он радовался, что осмыслил свое бытие, что нашел себе, наконец, цель в жизни, цель благородную, цель прекрасную, обещающую ему привлекательное занятие, полезные наблюдения. С такими чувствами возвратился он из-за границы.

Читателю уже известно, как он встретился с Василием Ивановичем на Тверском бульваре; как он уложился с ним вместе в тарантас, как вооружился книгой для своих путевых впечатлений и очинил перо.

Но что будет из этого? Что напишет он? Что откроет? Что скажет нам?

Кажется — ничего. И тут, как во все прочие случаи жизни, Иван Васильевич не выдержит характера. Сперва он погорячится, а потом обессилит при первом препятствии. Не приученный к упорному труду, он встретит невозможность там, где только затруднение, и благие его начинания останутся вечно без конца.

И не он один. Много у нас молодых людей, которые страдают одинакой с ним болезнью. Много у нас молодых людей, которые изнывают под бременем своей немощи и чувствуют, что жизнь их навек испорчена от порочного, недостаточного, половинного образования. Правда, они тешат свое самолюбие личиной поддельного разочарования, жизненной усталости, обманутых надежд. А в самом деле они только ничтожны, и ничтожны вполнину, а потому не могут не чувствовать своего ничтожества. И в них таится, может быть, склонность к деятельности, любовь к прекрасному и к истине, но они не приобрели силы осуществить внутреннего своего стремления. В них есть чувство, но нет воли. В них страсть кипит, но рассудок вечно недоволен. Многие для рассеяния погружаются в омут бурных наслаждений, иные делают распутными, другие картежниками, третьи жертвуют жизнью своею для вздора, некоторые воображают, что они вольнодумцы, либералы, потихоньку бранят правительство, проклиная обстоятельства, будто бы им враждебные. Но и с другими обстоятельствами они были бы те же, потому что зло в самом основании, в самом корне

тщедушного прозябания.

Жалкое поколение! Бедная молодость! Плод, испорченный еще во цвете! Но так суждено свыше. В каждом усовершенствовании, в каждом преобразовании должны быть жертвы. А они попали среди борьбы прошедшего с настоящим, мрака со светом. Они исчезнут без следа, без сожаления о непонятых страданиях; но их страдания должны служить примером. На мрачном небосклоне старинного невежества давно мелькнула уже лучезарная точка, и с каждым днем растет она и все становится ярче и ярче.

Будут люди, которые обожгутся незнакомым им огнем, другие, ослепленные сиянием, останутся в недоумении между светом и тьмой или попадут на ошибочную дорогу.

Но светильник все приближается ближе и ближе, и настанет день, когда мрак исчезнет совершенно и вся земля озарится благодетельным светом...

Глава XVII

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК

Между тем Иван Васильевич был в совершенном отчаянии. Впечатлений решительно нигде не оказывалось.

Одни бока его были под влиянием сильного впечатления, Напрасно посматривал от старательно из тарантаса на обе стороны — все сливалось для него в какую-то мутную, однообразную картину. Впрочем, его винить слишком нельзя. Вообще предметы определяются в уме вовсе не так, как в действительности, а как-то выпуклее, ярче, живописнее. К тому же есть такие люди, которые долго будут любоваться какой-нибудь литографией и никогда не заметят в природе того, что она изображает. Мужик, масляными красками, например, или просто нарисованный пером, заставит их долго стоять перед собой и даже принесет им немалое удовольствие, но мужик настоящий, нечесаный и немытый, в лаптях и тулупе, никогда не остановит их внимания, потому что таких мужиков так много, что их вовсе и не замечаешь.

Как бы то ни было, Иван Васильевич был в самом печальном расположении духа. Нетронутая книга путевых впечатлений валялась под ногами около погребца. Изучение России в отношении ее древности и народности решительно не подвигалось. Дело, кажется, стало не за многим.

Иван Васильевич догадывался, что одного хорошего намерения для совершения великого подвига было недостаточно. По России не развешаны вывески, по которым можно было бы прочесть всю жизнь ее, все, что было, что есть и что будет. Одной поездки в Мордасы для подобного изучения как-то мало. Нужно еще кое-что другое. Нужны еще вечная настойчивость, вечный терпеливый труд с самого младенчества, в течение целой жизни. А этого, кажется, немало. Надо было вникать в самую глубину всякого предмета, потому что из гладкой наружной поверхности ничего не извлекалось. Надо было отыскивать, как ключа загадки, тайного, иногда высокого смысла всякого прозаического проявления, попадавшегося на каждом шагу. Но, как известно, Иван Васильевич был человек слабого свойства. По мере того как он встречал затруднения, он не старался их одолевать, а изменял свои предприятия.

Таким образом, мало-помалу отказывался он, как мы видели, от прекрасных изучении, от важных открытий, к которым для блага человечества готовился с таким жаром.

Однако хотя он и потерял во многом надежду, но все еще надеялся проникнуть в душу русского человека. В самом деле, думал он, мы суетимся и хлопочем о России, а именно того-то мы и не знаем, что такое русский человек, настоящий русский человек, без примеси иноплеменного влияния? Какою живет он духовной жизнью? Чего ждет он?

Чего желает? К чему стремится? Чистое природное начало до того заглушено в нас настоящим нашим бытом, что мы не можем отделить основных понятий от накопившихся.

Определить это начало, отыскать эти родные понятия — вот будет славное дело. Мы много говорим о народности, но что такое народность? В чем заключается она, где составные ее части? Вот тебе, Иван Васильевич, работа. Отыщи, определи, наставь. Россия скажет тебе спасибо...

И как бы нарочно, тарантас въехал в большое, прекрасное селение, а Василий Иванович объявил, что он до того устал, лежа в тарантасе, что имеет намерение отдохнуть у смотрителя и полежать маленько на лежанке.

Длинное, бесконечное селение красовалось в самом торжественном для него виде. Перед высокими, украшенными резьбой избами сидели на лавках мужики и бабы, щелкая орехи. Праздничные наряды пестрели издали яркими цветами. У моста, пересекающего главный порядок надвое, небольшой домик гражданской архитектуры означал торчащею над дверью елкой многим милый кабачок.

Вправо целая гурьба молодежи в красных и синих сарафанах, с снежнобелыми рукавами, смотрели, как две босые девчонки скакали на доске. Около них два парня, в красных рубашках, в откинутых нараспашку армяках, казалось, не обращали внимания на выразительные насмешки стоящих недалеко товарищей. Некоторые из сих последних насвистывали сквозь зубы песенку. Другие, став около колодца в кружок, усердно побрякивали тяжелой свайкой в железное кольцо. Посреди улицы толпа ребятишек окружала небольшую запряженную клячею телегу, у которой веселый разносчик предлагал, с примесью поговорок и прибауток, пряники, стручки, крендели и всякий товар.

За мостом серебряный шпиг и зеленый купол церкви высоко возвышались над избами, резко отделяясь на сером грунте пасмурного неба.

— Эва! — сказал Василии Иванович смотрителю. — Что это у вас? Храмовой праздник?

— Так точно, — отвечал смотритель.

— С праздником, батюшка, — продолжал Василий Иванович.

— Покорнейше благодарим.

— А что бы, мой отец, нельзя ли самоварчик поставить?

— Самовар готов-с, сударь. Нас удостоили гости по соседству посещением. Кума даже из города с зятем приехала... К празднику, изволите видеть, пожаловали. Ну, известное дело — как не угостить дорогих гостей? Никак пятый самовар ставим.

— Доброе дело, доброе дело! — заметил Василии Иванович, после чего выпил с чувством три стакана чая, ощутил приятную теплоту и не с малым трудом вскарабкался на лежанку, по которой Сенька заблаговременно раскинул несколько подушек. Через несколько минут Василий Иванович объявил присутствующим, что уже изволит почивать, а Иван Васильевич отправился на село немного пошататься — да, кстати, поискать и народности.

Все население было на ногах, толпясь живописными кучками около строений. У кабака две православные бородки целовались с сердечными излияниями и с такими неистовыми

клятвами во взаимной дружбе, что страшно было слушать. Рыжий мужичок с штофом в одной руке и с светлозеленым стаканчиком в другой угощал, шатаясь, товарищей, неотвязчиво преследуя их своими предложениями, оскорбляясь отказами, кланяясь в пояс и не думая вовсе, что за один раз пропивает плоды годового труда.

Крикливая раскрасневшаяся баба толкала одуревшего мужа к дому, проливая горькие слезы, ругая его пьяницей, упрекая его в том, что он пускает по миру ее, горемычную, и детей-сирот, а между тем была также совершенно пьяна.

Иван Васильевич поспешно отвернулся от этой гнусной для деликатного человека картины и побрел себе к молодыцам, полюбоваться красотой наших северных женщин.

Надо заметить, что при этом он поправил немного беспорядок своего костюма, оттянул книзу пальто, застегнулся и приосанился... Следуя тайной слабости неизлечимого светского тщеславия, Иван Васильевич, хотя без особого в том сознания, был уверен, что неожиданное его появление в пестрой молодой толпе сделает сильный эффект.

Однако он ошибся.

Здоровая, румяная девка указала на него довольно нахально, обращаясь к подругам:

— Вишь какой облизанный немец идет.

Молодицы засмеялись, а парень в красной рубашке вмещался в разговор:

— Эка зубастая Матреха. Смотри, рыло разобью!

Матреха улыбнулась.

— Вишь больно напужал... Озорник этакий. Я и сама так тресну, что сдачи не попросишь.

Иван Васильевич не почел нужным вслушиваться в дальнейший разговор и, немного обиженный презрительным названием немца, снова принялся за странствование.

Сперва перешел он через мост, потом очутился на небольшой заросшей травой площадке, обогнул небольшой пруд, у которого ворчали утки с утятами, и, наконец, очутился близ церкви. Тут он успокоился духом, и мысли его приняли другое направление. Около церкви возвышалась каменная ограда, за которой, в густой траве, наклонялось несколько крашенных темнокрасных деревянных крестов.

При виде этих простых ознаменовании мелькнувшей простой жизни душа смиряется в каком-то благоговейном молчании. И точно: сельские кладбища производят совершенно другое впечатление, чем городские. При виде последних невольно рождается какое-то тяжелое, мучительное чувство. При виде первых на сердце становится безмятежно и ясно. Чем более жизнь приближается к природе, тем менее смерть кажется ужасною. Напротив, она является мирным преобразованием, за многое вознаграждающим, а не безотрадным лишением, не сокрушительным разрывом со всеми надеждами, со всеми заботами, с целым бытием человека.

У церковной ограды пробирался пономарь с узелком в руке, а издали шел священник в длинной шелковой рясе, в широкой шляпе, с высокой тростью в руке. По мере того как он приближался, крестьяне вставали, снимали шапки и почтительно кланялись своему пастырю. Иные целовали у него руку, другие подводили детей к благословенью.

Один только бледный, изнуренный мужик с черной бородкой и впалыми глазами не снял шапки и грубо отвернулся.

Это Ивану Васильевичу показалось странным. Он остановился перед дюжим хозяином, нянчившим на руках у ворот своих годового ребенка.

— Скажи-ка, брат, отчего вот этот черный не снимает шапки перед священником?

Мужик прикрыл сперва ребенка тулупом, а потом отвечал довольно небрежно:

— По старой вере.

Новая мысль блеснула молнией в голове Ивана Васильевича.

«Вот впечатление! Вот задача! — подумал он. — Определить влияние ересей на наш народ! Отыскать их начало, развитие и цель!»

— Много у вас раскольников? — спросил он поспешно.

— Чего?..

— Много ли у вас раскольников?

— Раскольников... Нет, немного...

— А сколько их будет?

— Сколько... Кто их там знает, сколько их будет.

— А скажи-ка, брат, в чем состоит их ученье?

— Чего?..

— В чем состоят их обряды?

— Обряды? Да по старым книгам.

— Да чем же они отличаются от вас?

— Чего?..

— Чем они от вас отличаются?

— Отличаются... Да никак по старой вере.

— Знаю; да ведь у них есть свое служение, свои скиты, свои священники?

— Известно — по старой вере.

— Какой они секты?

— Чего?..

— Какой они ереси?

— Чего?..

— Что они: беспоповщины, духоборцы?..

— Духоборцы... Нет, кажись, не духоборцы, а так, в церковь только не ходят... По старой вере, должно быть.

— Однако любопытно было бы знать, — продолжал, рассуждая вслух, Иван Васильевич, — исповедание их различествует с нашим в одной форме или в сущности? Отпадение их от нас гражданское или церковное?

— По старой вере, — заключил мужик, после чего хладнокровно повернулся к Ивану Васильевичу спиной и исчез с сынком в калитке.

Иван Васильевич пошел задумчиво далее.

Хотя крестьянские объяснения относительно раскольников были несколько неясны и даже неудовлетворительны, однако все-таки было о чем призадуматься. Иван Васильевич шел и думал... Вдруг громкий хохот прервал его размышления посреди самого занимательного их развития.

Озадаченный неожиданным шумом, Иван Васильевич поднял голову, потерял нить глубоких идей и невольно остановился. У ворот постоянного двора целая толпа народа окружала какого-то рассказчика в коротком некрытом полушубке, в военной фуражке, без бороды, но с большими седыми усами, доходящими по бакенбардам до ушей. На полушубке с левого бока висели две медали на полинялых лентах, но и по одной твердой осанке, по одним решительным движениям рассказчика нетрудно было узнать в нем старого отставного солдата.

— Экий служивый! — говорил кто-то в толпе. — Ай да служба! Прости господи! Везде побывал. Всего насмотрелся.

— Да! — подхватил рассказчик, немного, как казалось, подгулявший на веселом храмовом празднике. — Не вашему брату чета. Не сидел с бабами век за печью. И молотил горох, да покрупнее вашего. Слава богу, и хранцуза видел и под турку ходил.

— Ой ли! И под турку ходил?

— Ходил. Ей-богу, ходил. В двадцать восьмом году ходил. Да еще как задали нехристу на калачи, так просто ой-ой-ой...

— Да отчего же, дядя, война-то у нас была с туркой?

— Отчего? Известное дело, отчего! Турецкий салтан, это, по их немецкому языку, вишь, государь такой значит, прислал к нашему царю грамоту. Я хочу-де, чтоб ты посторонился, а то места не даешь. Да изволь-ка еще окрестить всех твоих православных в нашу языческую поганую веру.

— Ах он, безбожник! — воскликнул в толпе старичок.

— Вестимо, что безбожник. Да еще какой. Без всякой субординации. Прислал посла такого азардного. К вашему, мол, императорскому величеству от турецкого салтана прислан, да и только. Да еще рассказывали ребята, что принес-то он с собой горсть маку. «А сколько, говорит, зерен, столько у нас полков, так не прикажете ли, чтоб было по-нашему?»

— Ну, а что же наш царь? — спросил в толпе рослый парень.

— Да наш царь, слава богу, себе на уме. Послал в ответ горсть зернистого перца. Маленько хоть поменьше и будет, да попробуй-ка раскусить.

Мужики весело рассмеялись.

— Вот эндак-то ладно. Ей-богу, лихо... Что ж, небось присмирел татарин?

— Какой черт присмирел. Попутала его нелегкая.

Видно, что в башке-то амуниция не в порядке. Не принял дела рассудком. Вишь, бестолковый какой. Ему говорят, кажется, по-русски, а он еще ломается. Да где ему с своим поджарым народом идти, так сказать, на какойнибудь гренадерский батальон. Нам-то, правда, вволю и потешиться не пришлось. Налетит, бывало, какой-нибудь побойчее, вот и думаешь — дай-ка для смеха с ним поиграть маленько, да и щелкнешь в него пальцем, ан смотришь он, собака-то, уж и лежит.

— Чай, ведь они далеко отсюда? — спросил кто-то.

— Да подальше твоего огорода. Шли-то мы, шли, никак три месяца... перевалам-то и счет потеряли. Да и земли такие, правда, дрянные проходили. Ни на что не похоже. Все горы да горы. Такая жалость, право. Знать, не любит их бог за поганую веру. То есть, как бы сказать, нет даже местечка, чтоб выровниться полку как следует. Бедовая сторона! И достать-то нечего. Ей-богу, лавки простой нет. Говорили господа, что климат-де какой-то хорош.

А какой черт хорош! Иголка четыре копейки.

— Куда ж вы дошли? — спросил старичок.

— Да черт их там знает, какие они заламывают там прозвища. Пришли мы в какую-то, нелегкая их там знает, Аварию. Помнится мне, в четырнадцатом году, как на Париж шли, так тоже эту Аварию проходили. Вишь каким клином ее вытянуло. Ну, а из Аварии так и в самую Туретчину пришли. Я еще был в хлебопеках.

— Чай, всего натерпелся? — снова спросил старичок. — И вздремнуть-то на полатах не частенько приходилось.

— Какие тут, борода, полати. Ночлег-то под чистым небом. Придешь на место; командир скомандует на покой, ну и располагайся как знаешь. Лег на брюхо, спиной прикрывшись, да и спи себе до барабана. Да эвто бы ничего.

Солдат здоровый человек. А то кваса достать негде — эндакой поганый народ.

Сказав эти слова, старый служивый плюнул и махнул рукой. Несколько времени все присутствующие, исполненные негодования, стояли молча. Наконец, высокий парень снова вступил в любознательные расспросы:

— А скажи-ка, дядя, как же тебя ранили?

— Эва, невидальщина какая. Плевое, ей-богу плевое дело. Знать, и поранить-то порядком не сумели. Всего-то немного колено зашибло.

— Да как же это было?

— Как было? Да вот как было. Под крепостью, «то ли?... и мудренное такое название, что сразу и не выговоришь. Мы стояли, примером сказать, верстах в десяти.

Вдруг слышим — палят. Эва! Никак город-то хотят брать штурмом. Забили тревогу. Командир говорит: «Ребята, тут не след дремать, а своих выручать да себя показать». Бежали никак верст восемь или девять без оглядки. Запыхались ребята. Шутка ли? Подбежали вплоть к городу.

Ну, разумеется, дали отдохнуть маленько. Поднесли по чарке. Помнится, рассмешил еще меня тут Тарасенков седой — этакий хрыч, еще при Суворове служил, а после и в барбоны попал. «Эх, говорит, досадно... а я только что разбежался». Уморил, старый дьявол!.. Как

перевели дух, генерал спрашивает: «Что, ребята, можно взять эту крепость?» А крепость-то торчит энтаким чертом, хоть тресни, подступить негде... «Нет, ваше превосходительство, больно сильна, не одолеешь». — «Ну, а как прикажут?» «Ну, прикажут, так поневоле возьмешь». — «Ну, так господи благослови! Полезайте, ребята... Да повеселее. Песенники вперед, марш!» А с крепости-то палят из пушек, из ружей во что попало, треск такой, что ахти мне... Да нет, брат, врешь. Не слыхал, что ли, команды? Примем-ка дружнее.

Ура, ребята! да и только! Не помню, как влезли, а воттаки влезли, и пушки отняли, и знамена забрали — и крепость взяли. Многих, правда, недосчитались. Ну, да царствие им небесное; хорошей покончили смертью. Около вечерен, что ли, фельдеберь мне говорит: «Что, брат, не худо бы тебе к Карлу Ивановичу доктору сходить. Никак тебя порядком оцарапало». Ба, да и в самом деле! А я и не заметил вовсе. Что ж, нечего делать: отвели в лазарет...

Да плевое дело. И костыля не надо. А только та беда, что маршировать несподручно... Ну да уж, видно, отслужил свой век. Пора и с мужичками покалякать... Эва, небось в самом деле закалякался... Счастливо оставаться, господа... Я к сотскому зван на пиво.

Тут старый служака опустил руки по швам и, повернувшись по старой привычке налево кругом, согласно правилам дисциплины, отправился себе, немного прихрамывая, вдоль главного порядка в сопровождении то отстающих, то забегающих перед ним мальчишек. Плотная толпа слушателей начала медленно расходиться, потряхивая головами и меняясь задумчивыми восклицаниями:

— Эка, старый пес!.. Вишь ты каков. Ай да служба...

Не даром хлеб ел... Эва... эвтакий, право Иван Васильевич пустился снова в путь.

Кое-где раздавались песни, полупечальные, полувеселые, выражающие то широкое чувство, то тонкую, ядовитую насмешку. Кое-где мальчишки швыряли ему под ноги бабки и потом, остановившись перед ним, долго смотрели на него с удивлением. Дряхлые, согнутые старики с серебристыми бородами шли осторожно около строений, поддерживаемые почтительными внуками. Молодые парни снимали перед ними шапки. Молодые женщины заботливо усаживали их на скамейки. У сотского шел решительно пир горой. Не только изба, но и сени и даже двор были наполнены гостями. Пирог, лепешки, сушеные рыбы и разное мясо, в числе которого поросенок играл не последнюю роль, устилали роскошного кучей наскоро сколоченные столы. Огромные ведра, наполненные брагой и пивом, манили охотников хмельным, искусительным запахом. Несколько пьяных собеседников были уже уложены на полатах. Хозяйка то и дело кланялась дорогим гостям, прося не побрезгать скромным угощением, чем бог послал. Хозяин то и дело наполнял ковши и понукал хозяйку больше кланяться и старательнее угощать. Оба готовы были отдать для праздника не только сбереженное ими, но и то, что они могли получить в будущем времени, только чтоб гости были довольны, только чтоб разгулялись почтенные да сказали бы потом: «Ай да сотский!»

Иван Васильевич шел в грустном недоумении. «Станный народ, — рассуждал он, — непостижимый народ! В нем столько противоречий, столько оттенков, что его в целую жизнь не разгадаешь. И к тому же народ не есть народность. Отдельные касты сами по себе не составляют общего духа, общего требования. Для этого нужно общее слияние в одном чувстве. Нет сомнения, что и у нас все народные сословия тайно братствуют между собою, но во внешней жизни это братство так редко проявляется у нас, что иногда думаешь: точно ли существует оно в самом деле. Где же искать народности?»

В эту минуту лихая тройка стрелой пронеслась мимо Ивана Васильевича. Ямщик, весело помахивая кнутом, кричал «пади», стоя на облучке и подмигивая улыбающимся ему из окон красавицам. В телеге сидел какой-то старенький господин в серой шинели с красным воротником и в форменной фуражке. Иван Васильевич поднял голову. «Заседатель! — сказал

он невольно. — Чиновник!»

Но заседатель был уж далеко. Телега промчалась. Один колокольчик долго заливался вдали звонкою трелью, то утихал, то становился звонче и долго отдавался в сердце Ивана Васильевича каким-то странным звонким чувством грустной удали, заунывной отваги.

Иван Васильевич возвратился на станционный двор с самым неожиданным и диким заключением.

— О чиновники! — сказал он, вздохнув и обращаясь к себе самому, — о чиновники! Уж не вы ли, по привычке к воровству, украли у нас народность!

Глава XVIII

ЧИНОВНИКИ

На другой день утром тарантас подъехал к бедной избушке станционного смотрителя.

Василий Иванович тяжело ухнул и начал выкарабкиваться с помощью Сеньки.

— А что бы чайку, — сказал он, — чайку бы выпить. — Согреться маленько. А?..

Сметливый Сенька бросился к погребцу. Иван Васильевич выпрыгнул в то же время из тарантаса и хотел вбежать в избу, как вдруг он с внезапным ужасом отскочил на три шага назад. Навстречу к нему подходил чиновник — чиновник, как следует быть чиновнику, во всей форме, во всем жалком своем величии, в старой треугольной шляпе, в старом изношенном мундире с золотым кантиком по черному бархатному воротнику, с огромной бумагой, торчащей между пуговиц мундира. Он медленно переступал от старости и какой-то привычной робости. Маленькое его личико съеживалось в маленькие морщины. Он кланялся и, как казалось, не удивлялся неблагоприятному испугу Ивана Васильевича, а все подходил к нему ближе и ближе и, наконец, смиренным стареньким голоском вымолвил несколько слов:

— Прошу извинения-с. Покорнейше прошу-с не взыскать... Смею спросить... не известно ли вам, не изволите ли знать... скоро ли их превосходительство намерены сюда пожаловать?

— Не знаю, — грубо отвечал Иван Васильевич и отвернулся с досадой.

— Как? — воскликнул Василий Иванович. — Его превосходительство господин губернатор изволит объезжать губернию?

— Так точно-с. На той неделе получено предписание.

— А вы исправник? — спросил Василий Иванович.

— Никак нет-с... — Чиновник обратился к Василию Ивановичу и поклонился ему почтительно... — Исправляющий-с должность.

— Здесь граница уезда?..

— Так точно.

Василий Иванович, как коренной русский человек, очень любил новые знакомства, — не для того, впрочем, чтоб извлекать из их беседы какую-нибудь пользу, а так, чтоб только поболтать обо всяком вздоре да посмотреть на нового человека.

— Не угодно ли откушать с нами чайку? — сказал он приветливо, не обращая внимания на кислую физиономию своего спутника.

Чиновник еще раз поклонился Василию Ивановичу, потом поклонился Ивану Васильевичу, дал дорогу Сеньке, который тащил погребец, и поплелся, покашливая как можно тише, за своими новыми знакомыми.

В комнатке зрителя было довольно темно: старая ситцевая занавесь обозначала в углу кровать, на которой от времени до времени слышался тихий шорох. Проезжающие, не обратив на то внимания, уселись под образом на лавке, придвинув к себе продолговатый стол. Вскоре погребец разразился стаканами и блюдечками. Самовар закипел, стаканы наполнились, разговор начался.

— Вы давно служите по выборам? — спросил Василий Иванович.

— С восьмьсот четвертого года, — отвечал старичок.

— А почему вы служите по выборам? — лукаво спросил Иван Васильевич.

— Что делать, батюшка! Бедность!

Иван Васильевич значительно улыбнулся. «Взяточник! — подумал он, — так и есть!» Старичок понял его мысль, но не оскорбился.

— Теперь, батюшка, — сказал он, — не те времена, когда на этих местах наживались. Бывало, кого сделают исправником, так уже и говорят, что он деревню душ в триста получил. Начальство теперь строгое, смотрит за нашим братом, 0-ох, ох, ох! Что год, то пять, шесть человек в уголовную. Да потом, — продолжал шепотом старичок, — народ-то, батюшка, уж не таков. Редко-редко коль в праздник фунтик чая или полголовцы сахара принесут на поклон. Сами, батюшка, знаете, с этим не разживешься, не уйдешь далеко.

— Зачем же вы служите? — спросил Иван Васильевич.

— Бедность, батюшка, дети: восемь человек, всего одиннадцать душ прокормить надо: со мной две сестры живут да брат слепой. Ну, все думаешь, как бы для детей сделать получше. Авось в кадетский корпус или в институт попадут по милости начальства. Ну, слава богу и батюшке царю, жалованье теперь нам дают не то, что прежде, прокормиться можно.

— А выгоды есть? — спросил Василий Иванович.

— Какие, батюшка, выгоды! Есть-таить нечего, да много ли их? То куль овса, то муки немножко пришлет какой-нибудь помещик, и то по знакомству. Времена-то, батюшка, теперь другие.

— А хлопот, чай, не оберешься? — спросил Василий Иванович.

— Ну уж, батюшка, что и говорить! Пообедать некогда. Вот теперь, изволите видеть, я должен здесь дожидаться губернатора, а пока в уезде три мертвых тела не похоронены, да шестнадцать следствий не окончено, да недоимок-то одних, описей-то, взысканий-то, я вам скажу, чертова гибель. Что день, то подтверждения от губернского правления, да выговоры, да угрозы наказания, а нарочные так и разъезжают на наш счет. Тяжело, батюшка! Того и глядишь только, как бы спастись от суда. А канцелярии-то вы сами, батюшка, знаете, каковы: всего-то один ппсарь Митрофашка при мне. Да еще из своего жалованья плати ему сотни две да давай платя всякого да сапоги красные. Пьет, мошенник, шибко, зато собака писать. Придет несчастный час, подвернет спяну какую-нибудь бумажку, подпишешь-ан выйдет не то, ну и пропал!

— Да у вас должно быть поместье? — спросил Икай Васильевич.

— Батюшка, какое поместье! Нас четыре человека владельцев, а у всех-то у нас семнадцать душ по пэс-едней ревизии. На мою долю приходится три семейства, и то все почти женщины да старики. И тут благодати нет. Парень был один хороший-руку вывихнул; а женщины такие маленькие, худенькие, что ни в поле работать, ни полотна ткать, ничего не умеют.

— Да, — заметил Василий Иванович, — это уж точно несчастье. Плохая работница много барыша не даст.

— Все бы ничего, — продолжал бедный ЧЕИЮВНИК, — да вот беда. Года мои подошли такие, что слаб становлюсь что-то здоровьем. Иной раз сидишь себе за бумагами, как вдруг в глазах потемнеет, так потемнеет, что ни писаного, ни бумаги... черт знает что такое-ничего не разобрать.

Божье наказание — что ты станешь тут делать! А главное то, что для разъездов — вот как, например, скакать тс-лерь перед его превосходительством — уж не гожуся пенсе.

Всего так и ломит, а делать нечего: скачи себе на тройке да заготовляй лошадей.

Ивану Васильевичу стало невольно грустно; он вс.ал с своего места и подошел к темному углу. За занавескою послышался вздох. Иван Васильевич поспешно ее отделить.

На кровати сидел смотритель, спустив ноги на пол. Иван Васильевич хотя и был человек европейский, проповедник всеобщего равенства, но не менее того нашел весьма оскорбительным и неучтивым, что простой смотритель осмеливался перед ним не вставать. Он хотел уже делать самое антиевропейское замечание, но внимательный взгляд на смотрителя остановил порыв дворянского негодования, на бледном и впалом лице смотрителя виден был отпечаток тяжких страданий, а во всем его существе выражалась какая-то страшная безжизненность.

— Вы нездоровы? — спросил Иван Васильевич.

— Нездоров, — отвечал слабый голос. — Второй год обе руки, обе ноги отнялись.

На перине, на которой сидел окостеневший смотритель, лежало трое детей... Старший мальчик глядел на отца с видом участия и сожаления, другие валялись в пуху и жалобно просили хлеба или закутывались в лохмотья оборванного одеяла.

— Зачем же у вас так холодно? — спросил с заботливостью Иван Васильевич. — Для больного человека это вредно.

— Что ж делать, батюшка? Дров не дают, здесь станция вольная, содержатель — помещик, не приказывает давать хороших дров... его воля. Извольте в печке поглядеть, все хворост да прутья сырые; дым только от них, не загораются, хоть тресни. Посылал наемни к нему, нельзя ли дать дров — куда! раскричался. Выгоню, говорит, его: здесь тракт большой, больного не надо, куда угодно ступай! А вы видите сами, куда я пойду? Вот, — продолжал смотритель с улыбкою зависти, — на той станции хорошо: помещик добрый, дрова трехполенные; очень там жить хорошо. А меня — так бы и выгнали; слава богу, начальство заступилось: позволило сынишке моему, вот что рядом, исправлять мою должность. Одиннадцать лет всего, а уж пишет... — Бедный страдалец взглянул с невыразимым чувством нежности на белокурого мальчика, лежавшего в тулупе подле него: — Ну, Ваня, вставай, прописывай...

Дай мне подорожную.

Ваня развернул перед глазами отца своего подорожную, потом придвинул к кровати стол,

вооружился пером и с почтением ожидал, что отец прикажет ему писать.

— Ну, готов, Ваня? Прописывай: «От Москвы до Казани....» дай бог благополучия начальству, не выгнало, вступилось... «по подорожной московского гражданского губернатора...» и проезжающим спасибо, никто не жаловался, слава богу, я всегда старался... «второго октября...» написал, что ли?... делать им угодное... «№ 7273...» всякие учтивости. Слава богу, и участие принимают... «Казанскому помещику...» Проезжал доктор наемни, добрый такой: советовал ехать в город лечиться. Где мне! С чем ехать? Денег где взять? В чем ехать? Пошевелиться не могу. Буду так лечиться как-нибудь, простыми средствами, а всего лучше богу молиться.

«Странное дело! — подумал, задумавшись, Иван Васильевич. — Когда я входил в эту комнату, мне хотелось сердиться и презирать или по крайней мере насмеяться вдоволь; а теперь, сказать правду, едва ли не плакать хочется».

Он взглянул на своих собеседников. Усердно допивали они по четвертому стакану чая...

Глава XIX

ВОСТОК

— Казань... Татары... Восток! — радостно воскликнул, просыпаясь, Иван Васильевич. — Казань... Иоанн Грозный... бирюза, мыло, халаты... Казанское царство... Преддверие Азии. Наконец, я в Казани... Кто бы подумал, а вот-таки и доехали. Доехали до Востока; хоть не совсем до Востока, а все-таки по соседству... Ну, и деревни уже другие пошли по дорогам, с мечетями, с избами без окон, с женщинами, которые прячутся от нашего тарантаса, закрывшись грязными полотенцами... На пути уже редко попадает православная бородака... Теперь стало поживописнее. Идет маленький бритый татарин какой-нибудь в чибитейке, или глупый чуваш, или разряженная мордовка. Все уж получше. Берись за перо, Иван Васильевич.

Берись скорее! Дождись вдохновения, а покамест пиши... Пиши свои заметки... Начинай свои впечатления.

— «Идет татарин, идет чуваш, идет мордовка...» Ну и что еще?..

— «Видел татарина, видел чуваша, видел мордовку».

Ну, а там что?..

— Вот что, — с восторгом воскликнул Иван Васильевич. — Вот что!.. Надо заделать прореху в нашей истории.

Надо написать краткую, но выразительную летопись Восточной России... окинуть орлиным взором деяния и быт кочующих народов. Было здесь мордовское царство, которое распалось надвое и угрожало Нижнему поработением под предводительством вождя своего Пургаса. Было болгарское царство с семью городами, с огромной торговлей.

Было здесь множество народов, которые пришли неизвестно откуда, откочевали неизвестно куда и исчезли, не оставив ни следа, ни памятника... Что бы!..

Тут жар Ивана Васильевича немного простыл.

«А источники где?» — подумал он.

Источники найдутся где-нибудь. А как найдутся?

— Нет, Иван Васильевич, это труд уж, кажется, не по тебе. Тебе бы к цели поскорей. И в самом деле, кому же охота пожертвовать всей жизнью на дело, которое еще на поверку может выйти вздором.

Не написать ли деловым слогом какой-нибудь казенной статистической статейки? «Казань. Широта. Долгота. Топография. История. Кварталы. Торговля. Нравы».

Тут можно сказать, что я стоял в гостинице Мельникова, за стол платят столько-то, за чай столько-то. В Казани более ста гостиниц, что доказывает цветущее состояние города и торговую его значительность. Домов столько-то, бань столько-то.

Нет, Иван Васильевич, это будет уж не живым впечатлением, а чем-то вроде сочинения по обязанности службы или выпиской из губернских ведомостей. Так как же быть?

Неужели потомству лишиться прекрасного сочинения?

Можно бы было поговорить о здешнем университете и обо всех университетах вообще. Здешний университет известен в Европе по своей обсерватории, по математике и в особенности по изучению восточных языков. Да я-то их не знаю.

Говорят, хороша здесь и библиотека. Рукописей много. Читать-то их я не умею, а все-таки люблю.

Запомню самые важные.

Восточные с прекрасными рисунками и арабесками, которые могут быть заимствованы со временем для украшений в нашем зодчестве. Еврейская: Моисеево пятикнижие, писанное на пятидесяти кожах и свернутое в огромный сверток.

«Книга 1703 года, а в ней список бояр, и окольных, и думных, и ближних людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жильцов».

«Путешествие стольника Петра Толстова по Европе в 1697 году».

«Чин и поставление великих князей на царство. Свадьбы царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича».

«О пришествии святых вселенских патриархов в Москву по писани к ним от царя Алексея Михайловича».

«Книга записная, кто сидел в судных приказах в 1613 году».

«Записка разрядов».

«Воинский устав царя Василия Иоанновича Шуйского».

«Traite d'Arithmetique par Alexandre (le SoLivaroi)» [Трактат об арифметике Александра Суворова (франц.)], собственоручно писанный Суворовым в детстве.

Кроме того, целая библиотека князя Потемкина Таврического.

— Уф!.. — сказал Иван Васильевич. -Бес это, без сомнения, занимательно, но все это надо прочесть...

Всего бы проще было взять описание Казани господина Рыбушкина и кое-что из него выписать. Для придачи же ученого вида, который малых обманет, однако ж обманет кого-нибудь, стану теряться в загадках о происхождении названия города.

У нас многие слынут учеными чужим ученьем.

Многие, подобно мне, начали бы книгу свою следующим: «Полагают, что название города Казани происходит от турецкого слова: «JJ'L'.» что означает чугунный котел».

— Как ни говори, а это слово, которое ни я, ни читатель, — заметил Иван Васильевич, — не сумеем прочесть, сейчас придаст моему вступлению некоторый важный и приятный колорит.

Не всякий напишет : «JJ'L'.»

Не всякий знает, что «JJ'L'.» и чугунный котел одно и то же.

А если подумать, так какое кому до того дело? Теперь уж проходит пора шарлатанства и пустых слов. И стоит ли хлопотать о том, что действительно ли слуга какого-то Алтын-бека ненарочно уронил в реку котел, в то время как черпал для господина воду? Ведь это ни к чему не ведет.

Это сущий вздор. Даже если ханы и пили воду из котлов, в том нет нам никакой надобности.

Вдруг Иван Васильевич ударил себе по лбу.

— Нашел! — закричал он с вдохновением, — нашел свое новое, глубокое громадное воззрение... Я человек русский, я посвятил себя России. Скажет ли она за то спасибо, не знаю, да не в том дело. Я все труды, все мысли отдаю родине, и потому прочие предметы могут иметь для меня ценность только относительную. Итак, я изучу влияние Востока на Россию, в отношении его к одной России, влияние неоспоримое, влияние важное, влияние тройственное: нравственное, торговое и политическое.

Сперва начну с нравственного влияния, которое с давнего времени ведет на нашей почве упорную борьбу с влиянием Запада. Давно оба врага разъярились и кинулись друг на друга врукопашную, не замечая, что они стискивают между собою бедное, исхудалое славянское начало. Не лучше ли бы им, кажется, помириться, и взять с обеих сторон невинную свою жертву за руки, и вывести ее на чистый воздух, и дать ей оправиться и поздороветь. Пусть каждый расскажет ей потом исповедь своего сердца, наставит на истинный путь, указав на пагубные последствия собственных заблуждений, на блестящую награду своих доблестей. В самом деле, Россия находится в странном положении. Слева Европа, как хитрая прелестница, нашептывает ей на ухо обольстительные слова; справа Восток, как пасмурный седой старик, протяжно, но грозно твердит ей вечно свою неизменную речь. Кого же слушать? К кому обращаться? Слушать обоих. Не обращаться ни к кому, а идти вперед своей дорогой. Слушать для того, чтоб воспользоваться чужим опытом, чужими бедствиями, чужими страшными уроками и надежнее, вернее стремиться к истине. На Востоке всякое убеждение свято. На Западе нет более убеждения.

На Востоке господствует чувство, на Западе владевает мысль. А России суждено слить в себе мысль и чувство при лучах просвещения, как сливаются на небе цзеты радуги от яркого блеска солнца. Восток презирает суетность житейских треволнений — Запад погибает в беспрерывном их столкновении. И тут можно найти середину. Можно слить желание усовершенствования с мирным, высоким спокойствием, с непоколебимыми основными правилами. Мы многим обязаны Востоку. Он передал нам чувство глубокого верования в судьбы провидения, прекрасный навык гостеприимства и в особенности патриархальность нашего народного быта. Но, увы! он передал нам также свою лень, свое отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и,

что хуже всего, дух какой-то странной, тонкой хитрости, который, как народная стихия, проявляется у нас во всех сословиях без исключения. При благодетельном направлении эта хитрость может сделаться качеством и даже добродетелью, но при отсутствии духовного образования она доводит до самых жалких последствий. Она доводит к неискренности взаимных отношений, к неуважению чужой собственности, к постоянному тайному стремлению ослушиваться законов, не исполнять приказаний и, наконец, даже к самому безнравственному плутовству. Востоку мы обязаны, что столько мужиков и мастеровых обманывают нас на работе, столько купцов обвешивают и обмеривают в лавках и столько дворян губят имя честного человека на службе.

Страшно вымолвить, — а привычка в нас сделала то, что мы остаемся равнодушными, будучи свидетелями самых противозаконных хищений, так что даже первобытные понятия наши с годами изменяются и кража не кажется нам воровством, обман не кажется нам ложью, а какой-то предосудительною необходимостью. Впрочем, слава богу, тут Западом побежден у нас Восток, и мстительный факел осветил пучину козней и позора. Долго еще будут у нас проявляться следы сокрушительного начала, но они давно уже переходят в осадки всех сословий, в низшие слои людей разных именований, потому что каждое сословие имеет свою чернь. Как ни говори, как ни кричи, что ни печатай, Россия быстрым полетом стремится по стезе величия и славы — к недостижимой на земле цели совершенства. И более всех других народов Россия приблизится к ней, ибо никогда не забудет, что одного вещественного благосостояния точно так же недостаточно для жизни государства, как недостаточно для жизни частного человека. Широкой, могучей пятой задавит она мелкие гадины, кровожадные ехидны, которые хотят ползком пробраться до ее сердца, и весело отпрянет она, полная любви и силы, к чистому, беспредельному русскому небу...

— Вот, — заключил Иван Васильевич, — предмет так предмет! Влияние нравственное, влияние торговое, влияние политическое. Влияние восточное, слитое с влиянием Запада в славянском характере, составляют, без сомнения, нашу народность. Но как распознать каждую стихию отдельно? Народность-то, кажется, препорядочно закутана. Ее придется распеленать, чтоб добраться до нее, а потом как узнаешь, что пеленка, что нога? Мужайся, Иван Васильевич! Дело великое! Ты на Восток недаром попал; итак, изучай старательно влияние Востока на сзятую Русь... Ищи, ищи теперь впечатлений. Всматривайся в восточные народы. Изучай все до последней мелочи...

Рассмотри каждую каплю, влитую в нашу народную жизнь, — а потом и найдешь ты народность. За дело, Иван Васильевич, за дело!

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПЕРВОЕ...

— Барин, не надо ли халат, настоящий ханский, какие сам хан носит?

— Барин, не надо ли бирюза! Самый лучший. Некрашенный!

— Барин, не надо ли китайский жемчуг?

— Китайский туш.

— Китайский зеркало.

— Ергак самый лучший.

— Купи, барин, купи, барин.

— Дешево отдам.

— Деньги нужны.

Иван Васильевич поднял голову. Пока он приготавливался к первому своему впечатлению, комната наполнилась татарами в чибитейках, с выразительными лицами, с товарами подмышкой. Все говорили вместе, все кланялись и улыбались; каждый хватался сперва за суконный или кумачный кафтан, вытаскивал из-за пазухи желтенькие сложенные бумаги и потом, бросившись на пол, начинал развязывать узлы с халатами и разными тканями.

У Ивана Васильевича глаза разбежались. Во-первых, он привык за границей благоговеть перед азиатским товаром; во-вторых, он был из числа тех русских людей, которые не могут взглянуть в лавку, не почувствовав желания купить все, что в ней есть. Всякая пестрая дрянь в виде товара имеет для таких людей какую-то неодолимую прелесть. Иван -Васильевич забыл и влияние Востока и прекрасные свои исследования. Он вдруг одушевился новым чувством: ерлу чрезвычайно понравился полосатый халат.

— Что стоит? — спросил он.

— Последняя цена триста рублей. Другого не найдешь... Не делают больше... Эй, бери, барин. Будешь доволен... Приезжал князь из Петербурга, два такие халата взял.. Семьсот рублей заплатил. Не скупись, барин... Для тебя отдам за двести пятьдесят... Барин, вижу, хороший.

Купи, право... Да посмотри, что за халат. На обе стороны.

Этак поносил... перевернул— опять новый халат. Ну, бери за двести рублей. Деньги нужны... А то бы не отдал... Этакый халат и не делают больше... Последний, право последний... Ну, так и быть, три полсотни. Вижу, хороший барин... Для почина в убыток отдам.

— А бирюза?

— Давай пять золотых. Даром будешь иметь.

— А жемчуг, а зеркало, а тушь?

— Пять целковых. Десять целковых. Двадцать пелковых. Купи, барин. Даром возьмешь. Больно дешево.

Купи для почина... Для тебя только, потому что хороший барин. Не купишь-будешь жалеть. Деньги нужны.

Иван Васильевич не устоял против такого искушенья.

Он высыпал весь кошелек на стол, и проворные татары, быстро разделив между собой деньги, бросились, толкая друг друга, к дверям и рассыпались по коридору.

В эту минуту в соседней комнате послышалась звучная зевота, и Василий Иванович начал пошевеливаться, нежно охать и, наконец, приподыматься с своего ложа. Вскоре дверь его комнаты распахнулась, и он в откровенном утреннем беспорядке, прикрытый одним лишь тулупчиком, явился на радостный призыв Ивана Васильевич?..

Иван Васильевич сидел в новом пестром халате, с желто-зеленоватыми бирюзами в руке. Перед ним на столе лежали в желтых бумажках какие-то исковерканные раковины, два куса черной туши и маленькое зеркальце.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Видите эти вещи?

— Вижу...

— Оцените, пожалуйста.

Василий Иванович взглянул с пренебрежением на мнимые сокровища.

— Халат, — отвечал он, — на фабрике в Москве, где их делают, стоит тринадцать рублей с полтиною. За бирюзу эту негодную и целкового много. Тушь может стоить полтинник. Да зачем вам тушь, Иван Васильевич: вы, кажется, не рисуете?

— Не рисую, Василий Иванович, а все-таки интересно иметь этакую вещь.

— И, батюшка, черт ли вам в ней?

— Ну, а прочее?

— Прочее я не советовал бы даром брать. А вы что дали?

— Все, что у меня было в кошельке, — печально отвечал Иван Васильевич. «Первого своего впечатления, — прибавил он мысленно, — я не помещу в своем сочинении».

Василий Иванович громко расхохотался.

— Ай да плуты эти татары! Вот как вас, младенцев, проучают. Хха, хха, хха... И дело! Не покупай бирюзы другой раз...

— Сенька! — закричал он вдруг.

Сенька вошел.

— Подмазали тарантас?

— Подмазали-с!..

— Прикажи закладывать.

— Как? — спросил с ужасом Иван Васильевич. — Вы хотите ехать?

— А что ты думаешь, халаты покупать, что ли?..

— Повремените хоть денек. Дайте взглянуть на башню Сумбеки.

— Зачем тебе?

— Я хочу изучать Восток.

— Вот тебе на! Да здесь не Восток, а Казань.

— Да физиономия здесь восточная. Население татарское.

— Да ты, батюшка, никак узнал татар? Довольно с тебя... Завтра мы и в Мордасах будем. Не прогневайся.

Я стосковался и по Авдотье Петровне и по старичкам сгонм. Дела у меня довольно, з Восток ты изучай, коли угодно, в другой раз.

Волей-неволей Иван Васильевич сердито взгромоздился в тарантас подле неумолимого своего спутника... Тарантас выехал грузно из Казани и покатился по широкой дороге. И скоро скрылись из -вида и городские стены и высокие башни, и все далее и далее въезжал

тарантас в широкую, гладкую равнину... И вот исчезли леса, и долины, и жилые места. Голая степь раскинулась, растянулась во все стороны, как скованное море... Тощий ковыль едва колыхался от широкого размета ничем не обузданного ветра... Тучи бежали белыми волнами по небу... Орел, расширив крылья, парил в неизмеримой высоте... В целой природе дышало таинственное, унылое величие. Все напоминало смерть и в то же время сливалось в какое-то неясное понятие о вечности и жизни беспредельной...

Глава XX

СОН

Поздно вечером катился тарантас по широкой степи.

Становилось темно. Наконец, наступила ночь, покрыв всю окрестность мрачною завесой.

— Что это? — сказал с беспокойством Иван Васильевич. — Куда же девался Василий Иванович? Василий Иванович! Василий Иванович! Где вы? Где вы? Василий Иванович!

Василий Иванович не отвечал.

Иван Васильевич протер глаза.

— Странно, диковинное дело, — продолжал он, — мерещится мне, что ли, это в темноте, а вот так и кажется, что тарантас совсем не тарантас... а вот, право, что-то живое...

Большой таракан, кажется... Так и бежит тараканом...

Нет, теперь он скорее похож на птицу... Вздор, однако ж, быть не может; а что ни говори, птица, большая птица, — какая, неизвестно. Эдаких огромных птиц не бывает. Да слыханное ли дело, чтоб тарантасы только притворялись экипажами, а были в самом деле птицами? Иван Васильевич, уж не с ума ли ты сходишь! Доживешь ты, брат, до этого с твоими бреднями. Тьфу! Страшно становится. Птица, решительно птица!

И в самом деле, Иван Васильевич не ошибался: тарантас действительно становился птицей. Из козел вытягивалась шея, из передних колес образовывались лапы, а задние обращались в густой широкий хвост. Из перин и подушек начали выползать перья, симметрически располагаясь крыльями, и вот огромная птица начала пошатываться со стороны на сторону, как бы имея намерение подняться на воздух.

— Нет, врешь! — сказал Иван Васильевич. — Оставаться ночью в степи одному — слуга покорный. Ты, пожалуй, прикидывайся птицей, да меня-то ты не проведешь. Я все-таки знаю, что ты не что иное, как тарантас. Прошу везти на чем хочешь и как хочешь. Это твое уж дело.

Тут Иван Васильевич схватился руками за огромную шею фантастического животного и, спустив ноги над крыльями по обе стороны, не без душевного волнения ожидал, что из всего этого будет.

И вот странная птица, орел не орел, индейка не индейка, стала тихонько приподыматься. Сперва выдвинула она шею, потом присела к земле, отряхнулась и вдруг, ударив крыльями, поднялась и полетела.

Иван Васильевич был очень недоволен.

«Наконец, дождался я впечатления, — думал он, — и в самом пошлом, в самом глупом роде. Надо же быть такому несчастью. Ищу современного, народного, живогои после долгих тщетных ожиданий добиваюсь какой-то бестолковой фантастической истории, — я вообще этого подражательного, разогретого фантастического рода терпеть не могу... Экая досада. Неужели суждено мне век искать истины и век добиваться только вздора?»

Между тем темнота была страшная и все становилась непроницаемее. Воздух вдруг сделался удушлив. Страшная гробовая сырость бросила Ивана Васильевича в лихорадку. Мало-помалу начал он чувствовать, что над ним сгущались тяжелые своды. Ему показалось, что он несется уже не по воздуху, а в какой-то душной пещере. И в самом деле, он летел по узкой и мрачной пещере, и от земли веяло на него каким-то могильным холодом. Иван Васильевич перепугался не на шутку.

— Тарантас! — сказал он жалобно. — Добрый тарантас! Милый тарантас! Я верю, что ты птица. Только выведи меня, вылети отсюда. Спаси меня. Век не забуду!

Тарантас летел.

Вдруг в прощелине черной пещеры зарделся красноватый огонек, и на багровом пламени начали отделяться страшные тени. Безглавые трупы с орудиями пытки вокруг членов, с головами своими в руках, чинно шли попарно, медленно кланялись направо и налево и исчезали во мраке. А за ними шли другие тени, и снова такие же тени, и не было конца кровавому шествию.

— Добрый тарантас! Славная птица!.. — закричал Иван Васильевич. Страшно мне. Страшно. Послушай меня. Я почию тебя. Я накормлю тебя. В сарай поставлю.

Выведи только!

Тарантас летел.

Вдруг тени смешались. Пещера снова почернела мглой непроницаемой.

Тарантас все летел.

Прошло несколько времени в удушливом мраке. Ивану Васильевичу вдруг послышался отдаленный гул, который все становился слышнее. Тарантас быстро повернул влево.

Вся пещера мгновенно осветилась бледножелтым сиянием, и новое зрелище поразило трепетного всадника. Огромный медведь сидел, скорчившись, на камне и играл плясовую па балалайке. Вокруг него уродливые рожи выплясывали вприсядку со свистом и хохотом какого-то отвратительного трепака. Гадко и страшно было глядеть на них. Что за лики! Что за образы! Кочерги в вицмундирах, летучие мыши в очках, разряженные впух франты с визитной карточкой вместо лица под шляпой, надетой набекрень, маленькие дети с огромными иссохшими черепами на младенческих плечиках, женщины с усами и в ботфортах, пьяные пиявки в длиннополых сюртуках, напудренные обезьяны в французских кафтанах, бумажные змеи с шитыми воротниками и тоненькими шпагами, ослы с бородами, метлы в переплетах, азбуки на костылях, избы на куриных ножках, собакн с крыльями, поросята, лягушки, крысы... все это прыгало, вертелось, скакало, визжало, свистело, смеялось, ревели так, что своды пещеры тряслись до основания и судорожно дрожали, как бы испуганные адским разгулом беснующихся гадин...

— Тарантас! — возопил Иван Васильевич. — Заклинаю тебя именем Василия Ивановича и Авдотьи Петровны, не дай мне погибнуть во цвете лет. Я молод еще. Я не женат еще... Спаси меня...

Тарантас летел.

— Ага!.. Вот и Иван Васильевич! — закричал кто-то в толпе.

— Иван Васильевич, Иван Васильевич! — подхватил хором уродливый сброд. — Дождались мы этой канальи, Ивана Васильевича! Подавайте его сюда. Мы его, подлеца!

Проучим голубчика! Мы его в палки примем, плясать заставим. Пусть пляшет с нами. Пусть околеет... Вот и к нам попался... Ге, ге, ге... брат. Важничал больно. Света искал.

Мы просветим тебя по-своему. Эка великая фигура...

И грязи не любишь, и взятки бранишь, и сумерки не жалуешь. А мы тут сами взятки, дети тьмы и света, сами сумерки, дети света и тьмы. Эге, ге, ге, ге... Ату его!.. Ату его!..

Не плошайте, ребята... Ату его!.. Лови, лови, лови!.. Сюда его, подлеца, на расправу... Мы его... Ге... ге... ге...

И метлы, и кочерги, все мерзкие, уродливые гадины понеслись, помчались, полетели Ивану Васильевичу в погоню.

— Пстой, пстой! — кричали хриплые голоса. — Ату его!.. Ловите его... Вот мы его, подлеца... Не уйдешь теперь... Попался... Хватайте его, хватайте его!

— Караул! — заревел с отчаянием Иван Васильевич.

Но добрый тарантас понял опасность. Он вдруг ударил сильнее крыльями, удвоил быстроту полета. Иван Васильевич зажмурил глаза и ни жив ни мертв съежился на странном своем гипогрифе [Гипогриф — фантастическая крылатая лошадь с головой хищной птицы.]. Он уж чувствовал прикосновение мохнатых лап, острых когтей, шершавых крылнй; горячее, ядовитое дыхание адской толпы уже жгло ему и плечи и спину... Но тарантас бодро летел. Вот уж подался он вперед... вот уж изнемогает, вот отстает нечистая погоня, и ругается, и кричит, и проклинает... а тарантас все бодрее, все сильнее несется вперед... Вот отстали уже они совсем; вот беснуются они уже только издали... но долго еще раздаются в ушах Ивана Васильевича ругательства, насмешки, проклятия, и визг, ц свист, и отвратительный хохот... Наконец, желтое пламя стало угасать... адский треск снова обратился в глухой гул, который все становился отдаленнее и неясственнее и мало-помалу начал исчезать.

Иван Васильевич открыл глаза. Кругом все было еще темно, но на него пахнуло уже свежим ветерком. Мало-помалу своды пещеры начали расширяться, расширяться и слились постепенно с прозрачным воздухом. Иван Васильевич почувствовал, что он на свободе и что тарантас мчится высоко, высоко по небесной степи.

Вдруг на небосклоне солнечный луч блеснул молнией.

Небо перешло мало-помалу через все радужные отливы зари, и земля начала обозначаться. Иван Васильевич, нагнувшись через тарантас, смотрел с удивлением: под ним расстиралось панорамой необозримое пространство, которое все становилось явственнее при первом мерцании восходящего солнца. Семь морей бушевали кругом, и на семи морях колебались белые точки парусов на бесчисленных судах. Гористый хребет, сверкающий золотом, окованный железом, тянулся с севера на юг и с запада к востоку.

Огромные реки, как животворные жилы, вились по всем направлениям, сплетаясь между собой и разливая повсюду обилие и жизнь. Густые леса ложились между ними широкою тенью. Тучные поля, обремененные жатвой, колыхались от предутреннего ветра. Посреди их города и селения пестрели яркими звездами, и плотные ленты дорог тянулись от них лучами во все стороны. Сердце Ивана Васильевича забилося. Начинало светать. Вдруг все огромное

пространство дружно взыграло дружной, одинакой жизнью; все засуеилось и закипело. Сперва загудели колокола, призывая к утренней молитве. Потом озабоченные поселяне рассыпались по полям и нивам, и на целой земле не было места, где бы не сияло благоденствие, не было угла, где бы не означался труд. По всем рекам летели паровые суда, и сокровища целых царств с непостигаемой быстротой менялись местами и всюду доставляли спокойствие и богатство.

Странные, неизвестные Ивану Васильевичу кареты и тарантасы начали с фантастической скоростью перелетать и перебегать из города в город, через горы и степи, унося с собой целые населения. Иван Васильевич не переводил дыхания. Тарантас начал медленно спускаться. Золотые главы городов сверкнули при утренних лучах. Но один город сверкал ярче прочих и церквами своими и царскими палатами, и горделиво-широко раскинулся он на целую область, Могучее сердце могучего края, он, казалось, стоял богатырским стражем и охранял целое государство и силой своей и заботливостью. Душа Ивана Васильевича исполнилась восторгом. Глаза засверкали. «Велик русский бог! Велика русская земля!» — воскликнул он невольно, и в эту минуту солнце заиграло всеми лучами своими над любимой небом Россией, и все народы от моря Балтийского до дальней Камчатки склонили головы и как бы слились вместе в дружной благодарственной молитве, в победном торжественном гимне славы и любви.

Иван Васильевич быстро спускался к земле, и по мере того как он спускался, тарантас снова изменял свою птичью наружность для более приличного вида. Шея его вновь становилась козлами, хвост и лапы колесами, одни перья не собрались только в перины, а разнеслись свободно по воздуху. Тарантас становился снова тарантасом, только не таким неуклюжим и растрепанным, как знавал его Иван Васильевич, а приглаженным, лакированным, стройным, словом совершенным молодцом. Коробочки и веревочки исчезли. Рогож и кульков как бы не бывало.

Место их занимали небольшие сундуки, обтянутые кожей и плотно привинченные к назначенным для них местам.

Тарантас как бы переродился, перевоспитался и помолодел. В твердой его поступи не видно было более прежнего неряшества. Напротив того, в ней выражалась какая-то уверенность, чувство неотъемлемого достоинства, быть может даже немного гордости.

«Эк его Василий Иванович отделал, — подумал невольно Иван Васильевич. Экипаж длинный, это правда, однако ж для степной езды удобный. К тому ж он не лишен оригинальности, и ехать в нем весьма приятно... Спасибо Василию Ивановичу... Да где же он в самом деле? Василий Иванович! Василий Иванович! Где вы? Нет Василия Ивановича. Ужели пропал он, исчез совершенно? Жаль старика. Добрый был человек. Нет его как нет. Упал где-нибудь дорогой. Не остановиться ли поискать его?»

Остановиться, однако, было невозможно. В тарантас впряглась ретивая тройка, ямщик весело прикрикнул, и Иван Васильевич поскакал с такой невероятной быстротой, как ему никогда еще не случалось, даже когда он разъезжал в старину с курьерской подорожной по казенной надобности. Тарантас мчался все вперед без остановки по гладкой как зеркало дороге. Лошади незаметно менялись, и тарантас несея все далее и далее мимо полей, селений и городов. Земли, по которым он несея, казались Ивану Васильевичу знакомыми. Должно быть, он бывал тут когда-то часто и по собственным делам и по обязанности службы, однако все, кажется, приняло другой вид... Места, где были прежде неизмеримые бесплодные пространства, болота, степи, тущобы, теперь кипят народом, жизнью и деятельностью. Леса очищены и хранятся как народные сокровища; поля и нивы, как разноцветные моря, раскинуты до небосклона, и благословенная почва всюду приносит щедрое вознаграждение заботам поселян. На лугах живописно пасутся стада, и небольшие деревеньки, рассыпая кругом себя земледельцев симметрической своей сетью, как бы

наблюдают за сбережением времени и труда человеческого. Куда ни взгляни, везде обилие, везде старание, везде просвещенная заботливость. Селения, чрез которые мчался тарантас, были русские селения. Иван Васильевич бывал даже в них нередко. Они сохранили прежнюю, начальную свою наружность, только очистились и усовершенствовались, как и сам тарантас. Черные изозы, соломенные крыши, все безобразные признаки нищеты и нерадения, исчезли совершенно. По обеим сторонам дороги возвышались красивые строения с железными крышами, с кирпичными стенами, с пестрыми изразцовыми наличниками у окон, с точеными перилами и украшениями... На широких дубовых воротах прибиты были вывески, означающие, что в длинные зимние дни хозяин дома не занимался пьянством, не валялся праздный на лежанке, а приносил пользу братьям выгодным ремеслом благодаря способности русского народа все перенять и все делать и тем упрочивал и свое благоденствие. На улицах не было видно ни пьяных, ни нищих... Для дряхлых бесприютных стариков были устроены в церкви богадельни и тут же приюты для призрения малолетних детей во время занятий отцов и матерей полевыми работами. К приютам примыкали больницы и школы... школы для всех детей без исключения.

У дверей, обсаженных деревьями, резвились пестрые толпы ребятишек, и в непринужденном их веселии видно было, что часы труда не промчались даром, что они постоянно и терпеливо готовились к полезной жизни, к честному имени, к похвальному труду... и сельский пастырь, сидя под ракитой, с любовью глядел на детские игры. Кое-где над деревнями возвышались дома помещиков, строенные в том же вкусе, как и простые избы, только в большем размере. Эти дома, казалось, стояли блюстителями порядка, залогом того, что счастье края не изменится, а благодаря мудрой заботливости просвещенных путеводителей все будет еще стремиться вперед, все будет еще более развиваться, прославляя дела человека и милосердие создателя.

Города, через которые мчался тарантас, казались тоже Ивану Васильевичу знакомыми, хотя он во многом их не узнавал. Улицы не стояли печальными пустынями, а кипели движением и народом. Не было нигде заборов вместо домов, домов с плачевной наружностью, разбитыми стеклами и оборванной челядью у ворот. Не было развалин, растрескавшихся стен, грязных лавочек. Напротив того, дома, дружно теснясь одни к одному, весело сияли чистотой... окна блестели, как зеркала, и тщательно отделанные украшения придавали красивым фасадам какую-то славянскую, народную, оригинальную наружность. И по этой наружности нетрудно было заключить, в каком порядке, в каком духе текла жизнь горожан, — бесчисленное множество вывесок означало со всех сторон торговую деятельность края... Огромные гостиницы манили путешественников в свои чистые покои, а над золотыми куполами звучные колокола гудели благословением над братской семьей православных.

И вот блеснул перед Иваном Васильевичем целый собор сверкающих куполов, целый край дворцов и строений...

«Москва, Москва!» — закричал Иван Васильевич... и в эту минуту тарантас исчез, как бы провалился сквозь землю, и Иван Васильевич очутился на Тверском бульваре, на том самом месте, где еще недавно, кажется, встретил он Василия Ивановича и условился с ним ехать в Мордасы. Иван Васильевич изумился. Вековые деревья осеняли бульвар густою, широкою тенью. По сторонам его красовались дворцы такой легкой, такой прекрасной архитектуры, что уж при одном взгляде на них душа наполнялась благородной любовью к изящному, отрадным чувством гармонии. Каждый дом казался храмом искусства, а не чванной выставкой бестолковой роскоши... «Италия... Италия, неужели мы тебя перецеголяли?» — воскликнул Иван Васильевич и вдруг остановился. Ему показалось, что навстречу к нему шел князь, тот самый, которого он когда-то встретил на большой дороге в дормезе, который вечно живет за границей и приезжает в Россию с тем только, чтобы забрать с мужиков оброк.

«Не может быть, — подумал он. — Однако ж кажется, что князь... Да он, верно, за границей... И к тому же он разве из маскарада идет в таком наряде?»

Навстречу к Ивану Васильевичу шел в самом деле князь, только не в таком виде, как он знал его прежде. На голове его была бобровая шапка, стан был плотно схвачен тонким суконным полушубком на собольем меху, а на ногах желтые сафьянные сапоги доказывали, по славянскому обычаю, его дворянское достоинство. Он узнал старого своего знакомого и учтиво его приветствовал.

— Здорово, старый приятель, — сказал он.

— Как, князь... так это точно вы?... Я никак бы не узнал вас в этом костюме.

— Почему же?... Наряд этот совершенно удобен для нашего северного холода, а притом он наш, народный, и я другого не ношу.

— Не знал-с, виноват, совсем не знал... А я думал, князь, что вы за границей.

— Что?

— Я думал, что вы за границей.

— За какой границей?

— Да на Западе...

— Зачем?

— Да так-с.

— Помилуйте!.. У нас есть свой запад, свой восток, свой юг и свой север... Коли любишь путешествовать... так и тут своего во всю жизнь не объедешь.

— Конечно, это правда, князь... Однако согласитесь сами, что за границей мы находим не только удовольствия, но и важные поучения.

Князь посмотрел на Ивана Васильевича с удивлением.

— Какие поучения?

— Примеры-с.

— Какие примеры?

— Да просвещения и свободы.

Князь рассмеялся.

— Помилуйте... да это слова... Мы не дети, слава богу...

Нам неприлично заниматься шарадами и принимать названия за дела. Я вижу, впрочем, с удовольствием, что вы читаете историю — занятие похвальное. Вы говорите о том времени, когда непрощенные крикуны вопили о судьбе народов не столько для народного блага, как для того, чтоб их голос был слышен. Но ведь народы давно сами догадались, что весь этот шум прикрывал только мелкие расчеты, частные страсти, личное самолюбие или горячность молодости, — поверьте, если благо общее и подвинулось, так это от собственной силы, а не от громких возгласов. Для всякого человеческого дела страсть не только пагубна, но даже смертельна. Вам это докажет история, а история не что иное, как поучение прошедшего настоящему для будущего. Мы начали после всех, и потому мы не впали в прежние ребяческие заблуждения. Мы шли спокойно вперед, с верою, с покорностью и с надеждой. Мы не шумели, не проливали крови, мы искали не укрывательства от законной власти, а

открытой, священной цели, и мы дошли до нее и указали ее целому миру... Терпением разгадали мы загадку простую, но до того еще никем не разгаданную. Мы объяснили целому свету, что свобода и просвещение одно и то же целое, неделимое, и что это целое не что иное, как точное исполнение каждым человеком возложенной на него обязанности.

— Вы шутите, князь.

— Сохрани меня бог. Люди кричали много о своих правах, но всегда умалчивали о своих обязанностях. А мы сделали иначе... Мы крепко держались обязанностей, и право, таким образом, определилось у нас само собой.

— Да как же вы это сделали?

— Бог благословил наше смирение. Вы знаете, Россия никогда не заносилась духом гордыни, никогда не хотела служить примером прочим народам, и оттого-то бог избрал Россию.

— Неужели это правда, князь?.. Дай-то бог... Да все-таки я не понимаю, как вы дошли до такого счастья.

— Дошли просто, повинувшись стремлению века, а не бегая с ним взапуски. Мы искали возможного и не гонялись за недостижимым; мы отделили человеческое от идеального. Мы не увлекались пустыми, неприменяемыми началами, ибо знали, что нет начала, которое бы, доведенное до крайнего своего выражения, не делалось нелепостью и, что хуже, преступлением. Вот почему мы старались согласовать разнородные стихии, а не разрушать, не сокрушать их в безрассудных порывах. Мы искали равновесия. Равновесием держится весь мир, и это равновесие нашли мы в одной только любви. В любви христианской таится и гражданственное спокойствие и семейное счастье, все, что мы можем просить от земли, все, что мы должны просить от неба.

— И вы не встретили препятствий? — спросил Иван Васильевич.

— Без препятствий не было бы успеха, не было бы человеческих условий. Но в любви мы нашли и волю, и силу, и победу над враждебными началами, нашли единодушное влияние всех сословий для великого народного подвига. Дворяне шли вперед, исполняя благую волю божьего помазанника; купечество очищало путь, войско охраняло край, а народ бодро и доверчиво подвигался по указанному ему направлению. И побороли мы и западное зло и восточное зло, пользуясь их же примером, и теперь, слава богу, Россия владычествует над вселенной не одними громадными силами, но и духовным высоконравственным, успокоительным влиянием...

— Я вижу, — заметил Иван Васильевич, — вы все-таки попрежнему аристократ...

Князь улыбнулся и пожал плечами...

— Опять слова... опять пустые названия... Хорошо, что я с вами давно знаком и не повторю вашего замечания.

Но я вас предвещаю, вы можете уронить себя в общем мнении, если узнают, что вы еще занимаетесь пустыми толкованиями об аристократах и демократах. Теперь все называется настоящим именем и оценивается по достоинству.

Тунеядец, который надувается глупой надменностью, точно так же отвратителен, как и желчный завистник всякого отличия и всякого успеха. Голодная зависть нищей бездарности ничем не лучше спесивого богатства. Я аристократ в том смысле, что люблю всякое усовершенствование, всякое истинное отличие, а демократ потому, что в каждом человеке вижу своего брата. Впрочем, как вы видите, эти понятия вовсе не разнородны, а, напротив,

тесно связаны между собой.

«Да он, кажется, сделался педантом, — подумал с удивлением Иван Васильевич. — Уж не набрался ли он немецкой философии? На философию мода в Москве... Видно, и князь сделался мудрецом от скуки». Иван Васильевич продолжал разговор:

— Как же вы, князь, проводите здесь время? Скучненько, я думаю. Разве ведете большую игру в лото или в палки?

— Что за шутки... — возразил, немного обидевшись, князь. — У нас в карты одни только слуги играют, и то мы лишаем их места за такую гнусную потерю времени. У нас, слава богу, есть довольно занятий. Нетрудящийся человек не достоин звания человека. Когда же мы устаем от дела, то отправляемся в клуб.

— В английский?

— Нет, в русский. Там собираются наши светлые умы, и, слушая их беседу, всегда можно почерпнуть или новое познание, или отрадное впечатление. Поверите ли, все наши огромные предприятия, все усовершенствования, которыми мы так справедливо гордимся, возникли среди этого дружеского размена мнений и чувств.

— Так вы, князь, постоянно живете в Москве?

— О нет. Я в Москву только изредка наезжаю, — а то живу себе большей частью в уезде. Служба берет много времени.

— Вы служите, князь?

— Да... заседателем.

Иван Васильевич захохотал во все горло.

— Чему же вы смеетесь?..

— Помилуйте, князь... с вашим богатством, с вашим именем...

— Да оттого-то я и служу... Во-первых, как гражданин, я обязан отдать часть своего времени для общей пользы; во-вторых, выгоды мои, как значительного владельца, тесно связаны с выгодами моего края. Наконец, находясь сам на службе, я не отвлекаю от выгодного занятия или ремесла бедного человека, который бы должен был занимать мою должность. Таким образом, правительство не содержит нищих невежд или бессовестных лихоимцев. Охранение законов не делается источником беззаконности.

— Так вы живете в губернском городе?

— Иногда... по службе, иногда для удовольствия. Приезжайте к нам. Вы найдете много любопытного, много древностей, много предметов искусств, не говоря уже об огромных предприятиях относительно промышленности и торговли. Общество у нас серьезное, ненавидящее праздность с ее жалкими последствиями. Приезжайте к нам, а всего лучше приезжайте ко мне в деревню, в старый мой дедовский замок. Есть что посмотреть.

— Могу вообразить, — прервал Иван Васильевич. — Если роскошь усовершенствовалась у нас, как и прочее, какие должны быть у вас комнаты. Я чаю, вы каждый год меняете обои и мебель?

— Сохрани бог! Мой замок стоит как есть уж несколько веков. В нем сохраняются с почтением все следы дедовской жизни. Он служит некоторым образом памятником их действий.

Воспоминание о них не исчезает, а переходит от поколения к поколению, внушая детям благородную гордость и обязанность не уронить чести своего рода. Впрочем, деды наши не употребляли денег своих на вздор, а на важные местные улучшения, на книги, на поощрение художеств, на пособие наукам... Зато каждый замок может служить у нас предметом самых любопытных изучения, самых изящных удовольствий... У нас в особенности замечательно собрание картин.

— Итальянской школы? — спросил Иван Васильевич.

— Арзамасской школы... Вообразите, у меня целая галерея образцовых произведений славных арзамасских живописцев.

«Вот те на!..» — подумал Иван Васильевич.

— Немалого внимания заслуживает тоже моя библиотека.

— Иностранной словесности, верно?

— Напротив. Иностранной словесности вы найдете у меня только то малое число гениальных писателей, творения которых сделались принадлежностью человечества.

Но вы найдете у меня полное собрание русских классиков, любопытную коллекцию наших прекрасных журналов, которые своими полезными и совестливыми трудами поощряли народ на стезе прямого образования и сделались предметом общего уважения и благодарности. Зато, поверите ли, чтение журналов сделалось необходимостью во всех сословиях. Нет избы теперь, где бы вы не нашли листка «Северной пчелы» или книги «Отечественных записок». Писатели наши — честь и слава нашей родины.

В их творениях столько добросовестности, столько родного вдохновения, столько бескорыстия, столько увлекательности и силы, что нельзя не порадоваться их высокому и лестному значению в нашем обществе... Да, бишь, скажите пожалуйста... где Василий Иванович?

Иван Васильевич смутился. Он совершенно забыл о Василии Ивановиче, и совесть начала его в том упрекать.

— Вы знаете Василия Ивановича? — спросил он запинаясь.

— Знавал в молодости... Да вот давно уж не видал. Он человек не бойкий в разговорах, а практически дельный. Если б все люди были, как он, просто без образования, наш народ гораздо бы скорее образовался... А то нам долго мешали недообразованные крикуны, которые кое о чем слышали, да мало что поняли... Кланяйтесь Василию Ивановичу, если он жив... А теперь прощайте... Я заговорился с вами... Прощайте.

Князь пожал у Ивана Васильевича руку и быстро скрылся, оставив своего собеседника в сильном раздумье.

«Уж не это ли наша гражданственность?» — подумал он.

— Ваня, Ваня!.. — закричал вдруг кто-то за ним.

Иван Васильевич обернулся и очутился в объятиях своего пансионного товарища, того самого, который встретился ему на владимирском бульваре...

— Ваня, как это ты здесь? — спрашивал он с дружеским удивлением.

— Сам не знаю, — отвечал Иван Васильевич.

— Пойдем ко мне. Жена будет так рада с тобой познакомиться. Я так часто ей говорил о том счастливом времени, когда мы сидели с тобой в пансионе на одной лавке и так ревностно занимались, так жадно вслушивались в ученые лекции наших профессоров.

— Шутишь ли? — сказал Иван Васильевич.

— Тут, братец, как не быть признательным к этим людям. Им я обязан и душевным спокойствием и вещественным благосостоянием. Я богат потому, что умерен в своих желаниях. Я неприхотлив потому, что вечно занят. Я не взволнован желанием искать рассеянья, потому что нахожу счастье в семейной жизни. В этом счастье заключается вся моя роскошь, и благодаря строгому порядку я могу еще делиться своим избытком с неимущими братьями. К несчастью, на земле не может быть равенства; человек никогда не может быть равен другому человеку.

Всегда будут люди богатые, перед которыми другие будут почитаться бедными. Ум и добродетель имеют тоже своих богатых и своих бедных. Но обязанность богатых делиться с неимущими, и в том заключается их роскошь.

Пойдем ко мне.

Они отправились. Все было просто в скромном жилище товарища Ивана Васильевича. Но все дышало какой-то изящной изысканностью, каким-то неизъяснимым отблеском присутствия молодой, прекрасной женщины.

Приветливо улыбнулась она Ивану Васильевичу, и он остановился перед ней в немом благоговении. Ему показалось, что он до того времени никогда женщины не видывал. Она была хороша не той бурной сверкающей красотой, которая тревожит страстные сны юношей, но в целом существе ее было что-то высоко-безмятежное, поэтически-спокойное. На лице, сияющем нежностью, всякое впечатление ярко обозначалось, как на чистом зеркале. Душа выглядывала из очей, а сердце говорило из уст. В полудетских ее чертах выражались такое доброжелательное радушие, такая заботливая покорность, такая глубокая, святая, ничем не развлеченная любовь, что, уже глядя на нее, каждый человек должен был становиться лучше. В каждом ее движении было очаровательное согласие...

Она улыбнулась вошедшему гостю, а двое розовых и резвых детей, смущенные видом незнакомца, прижали к ее коленям свои кудрявые головки. Иван Васильевич глядел на эту картину, как на святыню, и ему показалось, что он в ней видел светлое олицетворение тихой семейственности этого высокого вознаграждения за все труды, за все скорби человека. И мало ли, долго ли стоял он перед этой чудной картиной — он этого не заметил; он не помнил что слышал, что говорил, только душа его становилась все шире и шире, чувства его успокоились в тихом блаженстве, а мысли слились в молитву.

— Есть на земле счастье! — сказал он с вдохновением. — Есть цель в жизни... и она заключается...

— Батюшки, батюшки, помогите!.. Беда... Помогите... Валимся, падаем!..

Иван Васильевич вдруг почувствовал сильный толчок и, шлепнувшись об что-то всей своей тяжестью, вдруг проснулся от сильного удара.

— А... Что?.. Что такое?..

— Батюшки, помогите, умираю! — кричал Василий Иванович. — Кто бы мог подумать... тарантас опрокинулся.

В самом деле, тарантас лежал во рву вверх колесами. Под тарантасом лежал Иван

Васильевич, ошеломленный неожиданным падением. Под Иваном Васильевичем лежал Василий Иванович в самом ужасном испуге. Книга путевых впечатлений утонула навеки на дне влажной пропасти. Сенька висел вниз головой, зацепись ногами за козлы...

Один ямщик успел выпутаться из постромок и уже стоял довольно равнодушно у опрокинутого тарантаса.

Сперва огляделся он кругом, нет ли где помощи, а потом хладнокровно сказал вопиющему Василию Ивановичу:

— Ничего, ваше благородие!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Владимир Александрович Соллогуб (1814-1882) — русский писатель, получивший широкую известность своими произведениями в 30-40-х годах прошлого века. Литературную деятельность он начал в журналах «Современник» («Два студента», «Три жениха», 1837 г.) и «Отечественные записки» («История двух галош», 1839 г.).

Соллогуб завоевал признательность как писатель, обратившийся к демократической тематике, критически изображавший быт и нравы светского общества («Большой свет», 1840 г.), с большим сочувствием относившийся к представителям простого народа («Аптекарьша», 1841 г., «Собачка», 1845 г.). Белинский одобрительно отзывался о таланте Соллогуба и отмечал в его произведениях «простоту и верное чувство действительности».

В 1840 году в передовом русском журнале «Отечественные записки» были опубликованы первые семь глав лучшего произведения Соллогуба «Тарантас», которое вышло отдельным изданием в 1845 году. Повесть эта получила высокую оценку современников. Белинский, посвятивший повести специальную статью, назвал ее «сатирой, исполненной ума, остроумия, мысли, юмора, художественности».

«Тарантас», — писал великий критик, — книга умная, даровитая и — что всего важнее — книга дельная!»

Повесть Соллогуба была написана на одну из важных тем современности. В 40-х годах в русском обществе шли горячие споры о путях развития России, о необходимости отмены крепостного права. Передовая часть русского общества вела жестокую борьбу с представителями реакционного течения-славянофилами, отражавшими интересы помещиков-крепостников. В центре повести образ помещика-славянофила Ивана Васильевича, мечтающего о возвращении к далекой русской старине. Его разглагольствования об особой любви к народу, родине — лишь пустые фразы, за которыми скрывается барское пренебрежение к действительным нуждам народа, стремление сохранить исконные устои самодержавного строя.

Соллогуб, с тонкой иронией относясь к своему герою, на протяжении всей повести ставит его в положение, обнаруживающее полную анекдотичность его замыслов и поступков. Таковы сатирические описания встречи Ивана Васильевича с народом: эпизод, где герой «..хотя человек европейский, проповедник всеобщего равенства, но не менее того нашел весьма оскорбительным и неучтивым, что простой смотритель осмеливался перед ним не вставать»;

таковы главы, где юмористически рассказывается о кончившихся конфузом попытках героя изучать Россию и русский народ. Белинский отмечал типичность образа Ивана Васильевича, в лице которого славянофилы «получила страшный удар, потому, что ничего нет в мире страшнее смешного: смешное казнь уродливых нелепостей».

Выступая с либеральных позиций, сам Соллогуб не вполне осознавал объективный смысл своей сатиры, но правдивое изображение характерных черт крепостнической действительности поставило повесть в ряд реалистических произведений русской литературы 40-х годов.

Повесть «Тарантас» и сегодня с интересом будет прочитана советским читателем, который увидит в ней яркие картины быта и нравов помещичье-крепостнической России.